



Герман Мелвилл

Моби Дик, или Белый кит

Перевод с английского
Инны Бернштейн



ФТМ



Герман Мелвилл

Моби Дик, или Белый Кит

«ФТМ»

1851

Мелвилл Г.

Моби Дик, или Белый Кит / Г. Мелвилл — «ФТМ», 1851

ISBN 978-5-4467-1740-8

Чтобы оценить эту книгу, надо забыть о том, сколько раз ее называли «величайшим американским романом» и «шедевром мировой литературы». Да не отпугнут читателя ярлыки, навешанные за сто с лишним лет. И большая удача, конечно, что «Моби Дик» не входит в школьную программу. Бессмысленно пытаться рассказать, о чем этот роман. И если, перевернув последнюю страницу, вам покажется, что вы всё поняли, – читайте заново.

ISBN 978-5-4467-1740-8

© Мелвилл Г., 1851

© ФТМ, 1851

Содержание

Пределы Вселенной Германа Мелвилла	5
Моби Дик, или Белый Кит	24
Этимология	24
Извлечения	25
Извлечения	25
Глава I	36
Глава II	40
Глава III	43
Глава IV	52
Глава V	55
Глава VI	57
Глава VII	59
Глава VIII	63
Глава IX	65
Глава X	71
Глава XI	74
Глава XII	76
Глава XIII	78
Глава XIV	81
Глава XV	83
Глава XVI	85
Глава XVII	94
Глава XVIII	98
Глава XIX	101
Глава XX	103
Глава XXI	105
Глава XXII	108
Глава XXIII	111
Глава XXIV	112
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Герман Мелвилл

Моби Дик

Пределы Вселенной Германа Мелвилла

В литературной истории Соединенных Штатов творчество Германа Мелвилла – явление выдающееся и своеобразное. Писатель давно уже причислен к классикам американской словесности, а его замечательное творение «Моби Дик, или Белый Кит» с полным основанием считается одним из шедевров мировой литературы. Жизнь Мелвилла, его сочинения, переписка, дневники досконально изучены. Существуют десятки биографий и монографий, сотни статей и публикаций, тематические сборники и коллективные труды, посвященные различным аспектам творчества писателя. И все же Мелвилл как личность и как художник, прижизненная и посмертная судьба его книг продолжают оставаться загадкой, до конца не разгаданной и не объясненной.

Жизнь и творчество Мелвилла полны парадоксов, противоречий и труднообъяснимых странностей. Так, например, у него не было сколько-нибудь серьезного формального образования. Он никогда не обучался в университете. Да что там университет! Суровая жизненная необходимость вынудила его бросить школу в возрасте двенадцати лет. Вместе с тем книги Мелвилла говорят нам, что он был одним из образованнейших людей своего времени. Глубокие прозрения в сферах гносеологии, социологии, психологии, экономики, с которыми читатель сталкивается в его произведениях, предполагают не только наличие острой интуиции, но также и солидный запас научных знаний. Где, когда, каким образом он их приобретал? Можно только предполагать, что писатель обладал удивительной способностью к концентрации внимания, позволявшей ему в короткое время осваивать огромное количество информации и критически ее осмысливать.

Или возьмем, скажем, характер жанровой эволюции творчества Мелвилла. Мы уже привыкли к более или менее традиционной картине: молодой литератор начинает со стихотворных опытов, затем пробует себя в кратких прозаических жанрах, потом переходит к повестям и, наконец, достигнув зрелости, берется за создание крупных полотен. У Мелвилла все было наоборот: он начал с повестей и романов, затем взялся за сочинение рассказов и закончил свой творческий путь как поэт.

В творческой биографии Мелвилла не было ученического периода. Он не пробивался в литературу, он «ворвался» в нее, и первая же его книга – «Тайпи» – принесла ему широкую известность в Америке, а затем в Англии, Франции и Германии. В дальнейшем мастерство его возрастало, содержание книг становилось более глубоким, а популярность необъяснимым образом падала. К началу шестидесятых годов Мелвилл был «намертво» забыт современниками. В семидесятые годы один английский почитатель его таланта пытался разыскать Мелвилла в Нью-Йорке, но безуспешно. На все расспросы он получал равнодушный ответ: «Да, был такой писатель. Что с ним теперь – неизвестно. Кажется, умер». А Мелвилл жил тем временем в том же Нью-Йорке и служил досмотрщиком грузов в таможене. Вот и еще один загадочный феномен, который можно назвать «молчанием Мелвилла». В самом деле, писатель «замолчал» в расцвете сил и таланта (ему не было еще сорока лет) и молчал три десятилетия. Единственное исключение составляют два сборника стихотворений и поэма, опубликованные мизерным тиражом за счет автора и совершенно не замеченные критикой.

Столь же неординарной была и посмертная судьба творческого наследия Мелвилла. До 1919 года его как бы не существовало. О писателе забыли столь прочно, что когда он действительно умер, то в кратком некрологе не сумели даже правильно воспроизвести его имя. В 1919

году исполнилось сто лет со дня рождения писателя. По этому поводу не было ни торжественных собраний, ни юбилейных статей. О славной дате вспомнил лишь один человек – Рэймонд Уивер, именно тогда приступивший к сочинению первой биографии Мелвилла. Книга вышла спустя два года и называлась «Герман Мелвилл, моряк и мистик». Усилия Уивера поддержал известный английский писатель Д. Г. Лоуренс, чья популярность в Америке в эти годы была огромна. Он написал две статьи о Мелвилле и включил их в свой сборник психоаналитических статей «Этюды о классической американской литературе» (1923).

Америка вспомнила Мелвилла. Да как вспомнила! Книги писателя начали переиздаваться массовыми тиражами, из архивов были извлечены неопубликованные рукописи, по мотивам сочинений Мелвилла снимали кинофильмы и ставили спектакли (в том числе и оперные), художники вдохновлялись образами Мелвилла, и Рокуэлл Кент создал серию блистательных графических листов на темы «Белого Кита».

Естественно, что мелвилловский «бум» распространился и на литературоведение. За дело взялись историки литературы, биографы, критики и даже люди, далекие от литературы (историки, психологи, социологи). Тонкий ручеек мелвилловедения превратился в бурный поток. Сегодня этот поток несколько поутих, но далеко еще не иссяк. Последний сенсационный всплеск случился в 1983 году, когда в заброшенном амбаре в северной части штата Нью-Йорк были случайно обнаружены два чемодана и деревянный сундук с рукописями Мелвилла и письмами членов его семьи. Сто пятьдесят мелвилловедов заняты теперь изучением новых материалов, имея в виду внести необходимые коррективы в жизнеописание Мелвилла.

Заметим, однако, что «возрождение» Мелвилла имеет лишь отдаленную связь с его столетним юбилеем. Истоки его следует искать в том общем умонастроении, которое характеризовало духовную жизнь Америки конца десятых – начала двадцатых годов XX века. Общий ход социально-исторического развития США на рубеже веков и особенно первая империалистическая война породили в сознании многих американцев сомнение и даже протест против буржуазно-прагматических ценностей, идеалов, критериев, коими страна руководствовалась на протяжении полутравековой своей истории. Этот протест реализовался на многих уровнях (социальном, политическом, идеологическом), в том числе и на литературном. Он был заложен в качестве идейно-философского основания в творчестве О'Нила, Фицджеральда, Хемингуэя, Андерсона, Фолкнера, Вулфа – писателей, которых традиционно относят к так называемому потерянному поколению, но которых правильнее было бы именовать поколением протестующим. Именно тогда Америка вспомнила о романтических бунтарях, утверждавших величайшую ценность человеческой личности и протестовавших против всего, что эту личность подавляет, угнетает, перекраивает по меркам буржуазной нравственности. Американцы вновь открыли для себя творчество По, Готорна, Дикинсон, а заодно и позабытого Мелвилла.

Сегодня уже никому не придет в голову усомниться в праве Мелвилла расположиться на литературном Олимпе США, и в Пантеоне американских писателей, сооружаемом в Нью-Йорке, ему отведено почетное место рядом с Ирвингом, Купером, По, Готорном и Уитменом. Он читаем и почитаем. Завидная судьба, великая слава, о которой писатель не мог и помыслить при жизни!¹

¹ Настоящая статья содержит лишь общий очерк жизни и творчества Мелвилла. Читатель, заинтересующийся судьбой писателя, творческой историей его книг в соотношении с общим развитием литературной жизни США середины XIX века, может почерпнуть более подробную информацию в специальной монографии: Ковалев Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. Л., 1972.

* * *

Герман Мелвилл родился 1 августа 1819 года в Нью-Йорке в семье коммерсанта средней руки, занимавшегося импортно-экспортными операциями. Семья была многодетной (четыре сына и четыре дочери) и на первый взгляд вполне благополучной. Сегодня, когда мы знаем, сколь тесно личная и творческая судьба Мелвилла переплелась с историческими судьбами его родины, самый факт его рождения в 1819 году представляется знаменательным. Именно в этом году молодая, наивная, исполненная патриотического оптимизма и веры в «божественное предназначение» заокеанская республика пережила трагическое потрясение: в стране разразился экономический кризис. Самодовольному убеждению американцев, что в Америке «все не так, как у них там, в Европе», был нанесен первый ощутимый удар. Впрочем, не всем было дано прочесть огненные письма на стене. Отец Мелвилла оказался среди тех, кто не внял предупреждению и был жестоко наказан. Дела его торговой фирмы пришли в полный упадок, и в конце концов ему пришлось ликвидировать свое предприятие, продать дом в Нью-Йорке и перебраться в Олбани. Не выдержав нервного потрясения, он потерял рассудок и вскоре умер. Семейство Мелвиллов впало в «благородную нищету». Мать с дочерьми переехала в деревушку Лансинбург, где кое-как сводила концы с концами, а сыновья разбрелись по свету.

Смерть отца была первым трагическим рубежом в жизни Мелвилла. Ему было всего двенадцать лет, но детство кончилось. Он должен был бросить школу и наняться переписчиком бумаг в банковскую контору. Потом он батрачил на ферме у своего дядюшки Томаса. Тяжкий крестьянский труд оказался мальчишке не по силам, и он решил сделаться учителем. Для этого пришлось пройти годичный курс в классической гимназии в Олбани, где он получил сертификат, дающий право преподавания в начальной школе. Учительский хлеб оказался горек. Положение учителя в американских поселках того времени отдаленно напоминало статус пастуха в дореволюционной российской деревне: его нанимали в складчину, и, следовательно, он пребывал в полной зависимости от родителей своих учеников. К тому же ученики в большинстве своем были старше учителя, и не было никаких способов заставить их учиться. Дважды Мелвилл становился на учительскую стезю – в 1837 году в Питтсфилде и в 1839 году в Гринбуше – и оба раза позорно капитулировал.

Попытки получить начатки инженерного образования, а затем найти работу на строительстве канала Эри тоже оказались бесплодны. Образование (полугодичный курс в лансинбургской «академии») Мелвилл получил, но работы не нашел. Оставалась лишь одна дорога, по которой до него пошли многие Мелвиллы – деды, дядя, двоюродные братья, – дорога в море.

В первый свой морской вояж Мелвилл отправился в 1839 году юнгой на грузо-пассажирском корабле «Св. Лаврентий», совершавшем регулярные рейсы между Нью-Йорком и Ливерпулем. Спустя полтора года началось «великое морское приключение» будущего писателя, длившееся без малого четыре года.

* * *

Есть в штате Род-Айленд тихий и пустынный, насквозь продуваемый атлантическими ветрами городок Нью-Бедфорд. Скромно и с достоинством он хранит былую славу китобойной столицы Соединенных Штатов. Здесь начинался американский китобойный промысел, отсюда и с близлежащих островов (Нантакет и Виноградник Марты) уходили в многомесячные, а иногда и многолетние рейсы китобойные суда. Как драгоценную реликвию жители городка охраняют небольшую церковь, расположенную близ гавани. Здесь, на одной из скамей в задних рядах, прибита металлическая дощечка, сообщающая, что на этой скамье сидел Герман Мелвилл в канун своего отплытия на китобойном судне «Акушнет» 3 января 1841 года.

«Акушнет» плыл традиционным для китобоев маршрутом: Рио-де-Жанейро – мыс Горн – Сантьяго – Галапагосский архипелаг – Маркизские острова – «китовые» районы Тихого океана. Здесь не место рассказывать в подробности о чудовищных условиях, в которых жили и трудились матросы китобойного флота, о палочной дисциплине, потогонной системе труда, смертельном риске, сопряженном с охотой на китов. Все это хорошо известно и многократно описано. Укажем лишь на одно обстоятельство, имеющее для нас существенное значение: дезертирство матросов с китобойных судов носило массовый характер. Капитаны старались по возможности не заходить в крупные гавани, дабы не остаться без команды. Как правило, китобойцы возвращались из рейса, имея на борту менее половины первоначального состава команды.

Проплавав на «Акушнете» полтора года, Мелвилл вдосталь хватил горько-соленой матросской жизни. Силы и терпение его истощились, и во время стоянки у одного из островов Маркизова архипелага он сбежал с корабля в компании товарища-матроса Тоби Грина. Перевалив через прибрежный хребет, беглецы оказались в плодородной долине, где и были захвачены в плен каннибалами племени Тайпи.

Людоеды, однако, не съели Мелвилла. Они смотрели на него отчасти как на пленника, отчасти как на гостя. Как пленнику ему воспрещалось покидать долину; как гостю ему было оказано должное гостеприимство. Жизнь его не подвергалась опасности и даже не лишена была некоторой приятности. Тем не менее месяц спустя он сбежал от гостеприимных каннибалов и завербовался матросом на австралийское китобойное судно «Люси Энн», как раз в это время бросившее якорь в близлежащей бухте.

Порядки на «Люси Энн» мало отличались от суровой рутины «Акушнета», а недовольство команды было, пожалуй, более сильным и активным. 24 сентября 1842 года, когда судно находилось у берегов Таити, группа матросов (к ней примкнул и Мелвилл) взбунтовалась, была арестована и заключена в местную тюрьму. Через месяц Мелвилл бежал и перебрался на соседний остров Эймео, где вновь завербовался на американский китобоец «Чарлз и Генри», приписанный к Нантакету. На сей раз срок его матросской службы был оговорен – полгода. Через полгода капитан «Чарлза и Генри», верный слову, высадил Мелвилла на Гавайях.

Мелвилла потянуло на родину. Однако путь был далек, а денег не было. Случай представился, когда американский фрегат «Соединенные Штаты» бросил якорь в гавани Гонолулу. Мелвилл явился к капитану и выразил желание поступить на военную службу. Гребец вельбота сделался военным моряком.

Фрегат не торопился домой. Корабль побывал у берегов Маркизова архипелага, Таити, в Вальпараисо, Кальяо, Рио-де-Жанейро и лишь потом направился в Бостон. Военно-морская служба Мелвилла растянулась на полтора года. Флотское лихо оказалось не слаще китобойного, и Мелвилл был рад оставить службу. 14 октября 1844 года он был вчистую уволен и отправился в Лансинбург, где жили мать с сестрами. Все вернулось на круги своя: Мелвилл снова был дома, без работы и почти без денег. Единственное, что он приобрел, – это жизненный опыт и огромный запас впечатлений, которыми охотно делился с друзьями, родными и знакомыми.

* * *

Биографам не удалось установить, кто был тот умный человек, который посоветовал Мелвиллу написать книгу о своих приключениях. Известно лишь, что такой человек нашелся и что Мелвилл внял мудрому совету. Предметом повествования он избрал наиболее экзотический эпизод своих странствий – жизнь у каннибалов – и рьяно взялся за дело. Голова Мелвилла была полна воспоминаний и впечатлений, но руки более привыкли к обращению с канатами, веслами, якорными цепями и с трудом удерживали перо. Поначалу ему казалось, что написать

книгу несложно: садись, вспоминай и пиши. Но вскоре его со всех сторон обступили чисто писательские заботы: проблемы общей структуры книги, жанра, сюжета, языка, стиля. Мелвилл решил построить свое сочинение по образцу распространенного тогда «описания путешествий» и тут же обнаружил, что ему не хватает материала. Начинающему автору пришлось засесть за труды по истории, географии, этнографии, ознакомиться с записками путешественников, трактатами миссионеров, воспоминаниями мореплавателей. На его столе громоздились кипы романов, повестей, рассказов, английские и американские журналы и орфографические словари.

Уже тогда у Мелвилла возникла потребность в осмыслении и обобщении опыта, своего и чужого, жизненного и книжного. Он начал читать труды философов, теологов, моралистов, постепенно вырабатывая собственное представление о мире и человеке. Этапы этого процесса зафиксированы в его книгах.

Далее все происходило, как в волшебном сне. Мелвилл отдал рукопись своему старшему брату Гансворту, который получил назначение на должность секретаря американской «легации» в Англии. Прибыв в Лондон, Гансворт с чисто американской непосредственностью отправился к крупнейшему английскому издателю Джону Меррэю. Тот познакомился с рукописью и согласился ее опубликовать. Это произошло 3 декабря 1845 года. Спустя два с половиной месяца Меррэй выпустил английское издание «Тайпи». Узнав о том, что рукопись принял «сам Меррэй», американский издатель Дж. Патнэм, пренебрегши правилом не печатать американских авторов, пока они не получают одобрения английских критиков, решился выпустить американское издание книги Мелвилла, которое и увидело свет в марте 1846 года.

Мелвилл молниеносно прославился как «человек, который жил среди каннибалов». Его книгу читали, о ней спорили, английские и американские журналы печатали рецензии на «Тайпи». Молодого автора хвалили и ругали (часто за одно и то же). Появились первые переводы на иностранные языки. Пока все это происходило, Мелвилл, уверовавший в свое писательское дарование, принялся за вторую книгу («Ому»), которую завершил к концу 1846 года. Рукопись была немедленно принята к изданию в Англии и в США, а Мелвилл тем временем уже трудился над третьей книгой («Марди»).

Мелвилл вступил на тернистую стезю профессионального литератора. Среди выдающихся американских писателей того времени почти не было профессионалов, то есть людей, живших только на литературные заработки. У всех были дополнительные источники дохода: Купер был землевладельцем, Ирвинг – дипломатом, Готорн – таможенным чиновником в Бостоне, смотрителем сейлемского порта, а затем консулом в Ливерпуле, Лонгфелло – университетским профессором. Единственное исключение составляет Эдгар По, который жил исключительно литературным трудом и умер в нищете. Оптимистическим прогнозам Мелвилла тоже не суждено было осуществиться. Вечная борьба с «дьяволом нищеты», который постоянно «околачивался возле дверей», истощила его силы, и он оставил карьеру литератора. Но это случилось потом, лет через десять-двенадцать. А пока, уповая на удачу, он начал устраивать жизнь заново: перебрался в Нью-Йорк, женился и, что самое важное, с головой окунулся в литературную жизнь Нью-Йорка – этой «литературной столицы США».

* * *

В одном из писем к Готорну Мелвилл писал: «Все мое развитие совершилось за последние несколько лет. Я – словно семя, найденное в египетской пирамиде. Три тысячи лет оно было только семенем и больше ничем. Теперь его посадили в английскую почву, оно проросло, зазеленело... Так и я. До двадцати пяти лет я не развивался совсем. Свою жизнь я исчисляю с этого возраста...» Переведя цифры в биографические даты, легко увидеть, что Мелвилл свя-

зывал начало своего развития с работой над «Тайпи», переездом в Нью-Йорк и приобщением к американской литературной жизни.

Многочисленные критики, пытавшиеся представить Мелвилла «одиноким гением», отключенным от чаяний и надежд своего времени, от общественной, политической и литературной борьбы эпохи, либо добросовестно заблуждались, либо сознательно искажали факты в угоду предвзятой концепции. Понять характер и направление внутреннего развития Мелвилла отдельно от жизни Америки сороковых годов попросту невозможно, а жизнь эта была полна противоречий и парадоксов.

К тому времени, когда Мелвилл ступил на литературное поприще, американский романтизм уже миновал первый этап своей истории. Старшее поколение (В. Ирвинг, Д.Ф. Купер, У. Симмс, У. Брайант, Д. Уиттьер) еще не ушло со сцены, а на смену уже явились новые имена (Р. Эмерсон, Г. Торо, Г. Лонгфелло, Э. По, Н. Готорн). Главная задача американских романтиков на раннем этапе заключалась в том, чтобы «открывать Америку». Все они были вовлечены в мощный поток нативизма – культурного движения, смысл и пафос которого заключался в художественно-философском освоении Америки, ее природы, истории, общественных институтов, ее нравов. Литература двадцатых-тридцатых годов открывала для читателей мир бескрайних прерий и девственных лесов, могучих рек и водопадов, показывала ему быт и нравы старинных голландских поселений, развертывала перед ним героические страницы Войны за независимость, рассказывала о событиях колониальной истории Америки, рисовала картины жизни на табачных плантациях Юга. Нативизм способствовал формированию общей концепции Америки в сознании американцев. Без этого невозможно было бы становление национального самосознания и, следовательно, национальной литературы.

Однако в процессе художественного освоения американской действительности романтики первого поколения с тревогой обнаружили, что историческое развитие молодого государства фатальным образом «уклоняется» от просветительских мечтаний «отцов-основателей», что оптимистические прогнозы не сбываются, просветительские лозунги искажаются, демократические идеалы выхолащиваются. Экономическому прогрессу сопутствовали кризисы; «народовластие» уживалось с рабовладением; героическое освоение новых территорий пионерами сопровождалось хищническим разграблением естественных богатств, а сами эти земли становились предметом спекуляции; право человека на «жизнь, свободу и стремление к счастью», записанное в Декларации независимости, не мешало правительству жестоко истреблять индейские племена; коррупция проникла во все эшелоны власти, включая самые высокие; ложь, клевета, демагогия стали «нормальными» методами политической борьбы; фетишизация богатства достигла небывалых высот.

Однако ранние романтики не усомнились ни в основных принципах буржуазной демократии, ни в благотворности капиталистического прогресса, ни в политических институтах Соединенных Штатов. Им казалось, что нравственная болезнь («моральное затмение» в терминологии Купера), поразившая американцев, занесена извне и вполне излечима. Достаточно лишь вскрыть пороки, изобличить недостатки и «отклонения» от здоровой нормы и тем содействовать их ликвидации. Именно с этим связано возникновение романтических утопий, сделавшихся неременным атрибутом американской литературы вплоть до Гражданской войны. Писатели творили некий (чисто условный) социальный и человеческий идеал, на фоне которого пороки реального бытия Америки высвечивались бы с особенной ясностью. Таков был мир старинных поселений Новых Нидерландов у Ирвинга или мир Кожаного Чулка, мудрой природы и благородных индейцев, живших в полном согласии с нею, у Купера.

В сороковые годы вышеуказанные тенденции в американской экономической и социально-политической жизни значительно усилились. Кризис 1837 года потряс экономику страны и вызвал к жизни многочисленные радикально-демократические движения. Обострились противоречия между Севером и Югом. Усилились экспансионистские настроения. Захват

новых земель мыслился многими как выход из положения. В 1846 году Америка начала первую и, увы, не последнюю в своей истории захватническую войну.

В этих обстоятельствах романтическая утопия не утратила своего значения как орудие критики современных нравов и порядков. И вполне понятно, почему Мелвилл включился в литературную традицию, которая насчитывала уже более двух десятилетий: она еще далеко не исчерпала себя.

На первый взгляд «Тайпи» – это честное и несколько наивное описание приключений американского матроса-китобоя, оказавшегося пленником каннибалов. Основное место в книге занимают бесхитростные наблюдения автора над нравами, обычаями, образом жизни полинезийских дикарей. Однако если присмотреться повнимательней, то нетрудно убедиться, что повествователь-матрос не так уж бесхитростен, как хочет казаться. Большая часть того, что он рассказывает, – правда, но далеко не вся правда. Картина жизни Тайпи, представленная им, явно идеализирована и неполна. Она нарисована по принципу оппозиции порокам американской буржуазной цивилизации. Контраст между «идеальностью» людоедов и порочностью буржуазного общества проходит красной нитью через все повествование, превращая его в классический образец романтической утопии.

* * *

Мелвилл принадлежал ко второму, младшему, поколению американских романтиков. У этого поколения были свои идеи и свои понятия о целях и задачах художественного творчества. Внутри романтического движения сформировались группы и объединения («Никербокеры», «Молодая Америка», «Трансценденталисты» и т.п.), ожесточенно полемизировавшие друг с другом. Литературная борьба сблизилась с политической, и партийные задачи оказались неотъемлемой частью эстетических принципов и программ.

В середине сороковых годов Мелвилл связал свою творческую судьбу (хоть и не очень надолго) с деятельностью «Молодой Америки» – литературно-политической группировки, выступавшей за всестороннюю демократизацию национальной жизни, в том числе и литературы. Устремления младоамериканцев были близки Мелвиллу, хотя в его отношении к соратникам был оттенок скептицизма и легкой иронии. Костяк группировки составляли писатели, публицисты, критики, для которых понятие «народ» обладало известной долей абстрактности. Они думали о народе, трудились на благо народа, но сами стояли «отдельно» от народа. Мелвиллу же изначально было свойственно уитменовское ощущение слитности с народом. Потребности народа не составляли для него загадки: он ступил на литературную «палубу» из матросского кубрика, он сам был народ. У него были все основания назвать себя «беспощадным демократом».

Важность приобщения Мелвилла к деятельности «Молодой Америки» состояла в другом: он включился в литературную жизнь и борьбу эпохи, начал осознать ответственность писателя, вырабатывать собственную точку зрения на общий характер социально-исторического развития Америки и на роль искусства в этом развитии.

Здесь, по-видимому, уместно охарактеризовать некоторые черты мировоззрения Мелвилла, хотя задача эта содержит почти непреодолимые трудности. И дело не только в том, что Мелвилл не оставил теоретических трудов и единственным источником сведений для нас могут служить его художественные произведения, но главным образом в том, что мировоззрение писателя являло собой не завершенную стабильную систему, а неостановимый мыслительный процесс. С одной стороны, изучая и наблюдая конкретную действительность, Мелвилл искал в ней проявления общих законов, что и объясняет его неудержимую тягу к символическим обобщениям. Нередко «открытые» им законы оказывались в противоречии друг с другом, и это опять-таки вело к появлению сложных, внутренне противоречивых символов. С другой

стороны, Мелвилл пытался постигать реальность посредством наложения на ее хаотическое движение устойчивых представлений и философских категорий, выработанных человеческой мыслью на протяжении долгих столетий. Его можно было бы причислить даже к идеалистам кантианского типа, если бы не одно существенное обстоятельство: Мелвилл смутно подозревал, что сами человеческие представления есть особая форма отражения реального бытия. Мысль об этом прорывается во многих его сочинениях и особенно явно – в «Моби Дике».

Подобно некоторым своим современникам – Эмерсону, По, Готорну, Уитмену, – Мелвилл был романтическим гуманистом и центральным ядром мироздания полагал человеческое сознание как триединство интеллекта, нравственного чувства и психики. Вместе с тем он не был похож на других. Эмерсон видел в человеческом сознании частицу «мировой души» и на этом основании строил свою оптимистическую теорию «доверия к себе». Готорн считал, что душа человеческая являет собой нерасторжимое единство Добра и Зла и что всякая попытка ликвидировать Зло неизбежно ведет к уничтожению Добра. В его мировоззрении оптимизм присутствовал в микроскопических дозах. Эдгар По при всем своем преклонении перед могуществом интеллекта был пессимистом, ибо основной чертой сознания полагал нестабильность психики, искажающую деятельность разума и нравственное чувство. Мелвилл тоже был пессимистом, но совершенно иного толка. Он не верил в существование эмерсоновской «сверхдуши», не соглашался с метафизическими представлениями об извечном Зле в душе человека или о врожденной нестабильности психики. В его мирозерцании мы находим в качестве высших ценностей бескомпромиссный демократизм, идею всеобщего равенства рас и народов, высокое достоинство Труда и безграничное уважение к Труженику. В этом смысле Мелвилл был близок к молодому Уитмену – автору первой редакции «Листьев травы». Однако при всей своей склонности к универсальным обобщениям и символическим абстракциям сознание Мелвилла обладало известной историчностью. Признавая здоровую основу «души народа», Мелвилл говорил о пагубном воздействии на нее буржуазной цивилизации, в особенности буржуазной этики. Он не видел способа остановить этот разрушительный процесс. Отсюда его неповторимый, так сказать, «фундаментальный» пессимизм. Расхождения между идеалом и действительностью, между «нравственной моделью» и практикой социального поведения соотечественников, осознанные писателем достаточно рано, дали определенное направление его интеллекту. Он двинулся по пути художественного исследования всеобщих законов и сил, регламентирующих и направляющих человеческую деятельность. Это был путь к «Моби Дику».

Первой ступенькой на этом пути явился роман «Марди» – сочинение, в котором Мелвилл потерпел сокрушительное поражение как художник. Книга оказалась перенасыщена сведениями из области истории, философии, социологии, политики, эстетики. Информация была обильна, но плохо переварена и бессистемна. Мелвиллу не удалось найти адекватной формы для ее художественного осмысления. Книга производила странное впечатление. Да и сегодня, знакомясь с ней, трудно поверить, что ее создал большой мастер. В ней нет сюжетного единства, жанровой цельности, характеры героев абстрактны и условны, как условна и действительность, их окружавшая.

Неудачу «Марди» отчасти можно объяснить писательской неопытностью Мелвилла. Но главная причина заключалась, видимо, в том, что Мелвилл слишком прямолинейно истолковал один из кардинальных принципов романтической эстетики, в соответствии с которым воображение определялось как кратчайший путь к познанию высшей истины. Молодой Мелвилл споткнулся на том же, на чем двумя десятилетиями ранее споткнулся Эдгар По, погубивший прекрасный замысел поэмы «Аль Аарааф», пытаясь создать «мир чистого воображения» путем изъятия из него «всего земного». Оказалось, что воображение не может работать в отрыве от земного материала, не может создавать что-либо из «ничего», и По оставил поэму незавершенной. Примерно то же произошло и с Мелвиллом. Он, правда, довел повествование до конца, но

вынужден был перевести его в условно-аллегорический план, что не спасло положения: эстетический ущерб оказался непоправимым.

Так же, как и По, Мелвилл извлек урок из неудачи. Он понял, что управляющие жизнью законы могут быть доступны человеческому сознанию только через их проявление в конкретных реальностях бытия, и задача писателя заключается в том, чтобы постигать общее в частном, представлять конкретное движение жизни так, чтобы в нем просматривалось, открывалось действие всеобщих законов во всей их сложности и противоречивости.

* * *

Неуспех «Марди», конечно, огорчил Мелвилла, но не обескуражил. Едва завершив рукопись и отправив ее к издателям, Мелвилл вновь вернулся к письменному столу и принялся разрабатывать замыслы, зародившиеся у него еще в ходе сочинения неудачного романа. Результатом явились две книги совершенно иного направления – «Редберн» и «Белый Бушлат». Они неравноценны. «Белый Бушлат» – вершина американской маринистики сороковых годов, книга, пропитанная духом демократизма, сосредоточенная на важных социальных проблемах времени, насыщенная острыми и гневными инвективами против установившегося порядка вещей в государстве и на флоте. Что же касается «Редберна», то это, так сказать, подступы к «Белому Бушлату». Здесь в зародыше можно обнаружить многое из того, что развернется в полную силу в последующих сочинениях Мелвилла.

И «Белый Бушлат», и «Редберн» свидетельствуют о том, что Мелвилл отвернулся от принципа «чистого воображения» и осознал его бесплодность. Он вновь обратился к собственному жизненному опыту и к книгам. Воображению же была отведена иная роль: связывать факты в систему, проникать под их поверхность, улавливать их закономерность и глубинный смысл. Мелвиллу стала очевидна многозначность фактов и возможность интерпретации действительности на многих уровнях. Отсюда общие сдвиги в поэтике мелвилловской прозы, почти полное исчезновение аллегорического начала и стремительное нарастание романтической символики. Все это можно обнаружить в «Редберне» и «Белом Бушлате», а затем, в полном расцвете, в «Моби Дике».

Напомним, что раннее творчество Мелвилла развивалось в рамках нативизма и утопического романтизма. Правда, Мелвилл не посягал на изображение прерий, лесов, озер и водопадов. Не привлекали его и события далекого прошлого. Его Америкой была корабельная палуба. И дело здесь не только в жизненном опыте писателя, но еще и в том, что морская жизнь была важной частью национальной действительности.

Америка изначально была страной моряков. Все ее торговые, экономические, политические и культурные связи с миром осуществлялись через Атлантику и Тихий океан. Даже внутренние коммуникации ввиду отсутствия дорог, каналов и мостов через реки пролегали по морям. Отсюда огромное количество каботажных судов и внушительные размеры океанского торгового флота. Не забудем также, что в Америке тех времен не было развито скотоводство и не открыты еще были залежи нефти. Потребность в мясе, жирах, коже, горюче-смазочных материалах удовлетворялась в основном за счет китобойного промысла. Китовый жир шел в пищу и для смазки машин, из китовой шкуры изготавливались приводные ремни (почти вся промышленность работала на водной энергии) и подошвы для обуви, вечера и ночи американцев проходили при свете спермацетовых свечей. Неудивительно, что из 900 судов мирового китобойного флота 735 принадлежали американцам. Если к сказанному прибавить, что Соединенные Штаты располагали значительным военным флотом, то станет понятно, почему корабельная палуба могла с полным основанием рассматриваться как существенная часть национальной действительности и почему именно Америка явилась родиной морского романа и вообще литературной маринистики.

Почти все романы Мелвилла («Марди», «Редберн», «Белый Бушлат», «Моби Дик», «Израиль Поттер»), некоторые повести («Бенито Серено», «Энкантадас», «Билли Бадд») и ряд стихотворений (сборник «Джон Марр и другие матросы») могут быть целиком или частично причислены к морским жанрам. Это логично. Мореплавание было той сферой бытия, которую Мелвилл знал лучше всего.

«Белый Бушлат» – морской роман, повествование о буднях военно-морского флота США, осмысленных с позиций романтической идеологии. Сочинение Мелвилла окончательно утвердило господство нового направления в американской литературной маринистике, пришедшего на смену традиции, заложенной Купером еще в двадцатые годы.

Купер был первопроходцем. Его не напрасно называют «отцом» морского романа. Однако специфическая атмосфера американской духовной жизни двадцатых годов, пронизанная патриотическим пафосом, наложила существенный отпечаток на эстетику куперовского морского романа. Купер «отключил» корабль от национальной действительности, вывел морскую жизнь из-под власти социальных законов, идеализировал и героизировал «морские» характеры. Корабль в его романах – истинный и единственный дом моряка, предмет привязанности, любви и эстетического любования; море – прекрасный и грозный противник в благородной борьбе человека. В произведениях Купера не было места для изображения тягот морской службы, корабельного быта, самодурства капитанов и жестокости офицеров, палочной дисциплины и беспорядка матросов.

В Америке двадцатых-тридцатых годов у Купера оказалось множество подражателей. Но куперовская традиция исчерпала себя почти сразу. В американской маринистике тридцатых годов отчетливо обозначилось новое, антикуперовское направление. Новизна его заключалась в отказе принять куперовский общий взгляд на морскую жизнь. Корабельную палубу стали воспринимать как участок национальной действительности с ее социальной дифференциацией и антагонистическими противоречиями. Исчезло понятие моряка вообще. Оно заместилось понятиями «матрос», «боцман», «офицер». Соответственно стали разниться и представления о морской службе. У матроса они были иными, нежели у офицера.

Волна радикально-демократических движений, охватившая Америку на рубеже тридцатых-сороковых годов и оказавшая существенное воздействие на литературу, способствовала тому, что в маринистике на первый план выдвинулась фигура рядового матроса. Новую ситуацию первым осознал Р. Г. Дейна (младший), который опубликовал в 1840 году повесть с нарочито неловким названием «Два года рядовым матросом». Она была воспринята писателями-маринистами как манифест и на долгие годы определила характер американской морской прозы. За Дейной пошли десятки писателей. В их числе был и Мелвилл. Его «Белый Бушлат» – книга о бесчеловечности флотских установлений, о трагической судьбе и горькой участи рядовых матросов, книга, заряженная социальным пафосом и реформаторским духом, – стал вершиной американской маринистики десятилетия. Это была последняя ступень перед «Моби Диком».

* * *

В конце 1849 года, завершив работу над «Белым Бушлатом», заключительные главы которого писались уже на пределе сил, Мелвилл «сбежал» в Европу под предлогом необходимости переговоров с лондонскими издателями. Он побывал в Париже, Брюсселе, Кельне, Рейнской области и в Лондоне. 1 февраля 1850 года Мелвилл вернулся в Нью-Йорк и принялся за «Моби Дика», замысел которого в общих чертах уже сложился у него к этому времени. Прошло полгода, мучительных и тяжелых, прежде чем он окончательно убедился, что работать в существующих бытовых обстоятельствах невозможно. На деньги, взятые в долг у тестя, он купил

ферму «Эрроухед» (неподалеку от маленького городка Питтсфилд) и в сентябре перебрался туда со всем семейством.

С переездом на ферму участие Мелвилла в литературной и общественной жизни страны отнюдь не прекратилось. Он сохранил связи с «Молодой Америкой», часто наезжал в Нью-Йорк, а младоамериканцы посещали его в Питтсфилде. Он продолжал сотрудничать в журналах и активно выступать в защиту национальной литературы. Важное значение имело и то, что в пяти милях от фермы Мелвилла (в Леноксе) примерно в это же время обосновался Натаниель Готорн, с которым Мелвилл свел знакомство, переросшее вскоре в тесную дружбу. Их регулярные встречи и переписка, долгие беседы о литературе, обмен мнениями по насущным вопросам общественной, политической и духовной жизни Америки, обсуждение чисто профессиональных писательских проблем – все это сыграло важную роль в творческой эволюции обоих, особенно Мелвилла, который был пятнадцатью годами моложе Готорна. На какое-то время Питтсфилд стал одним из центров романтического искусства Америки. Здесь в пятидесятом – пятидесяти первом годах создавались два выдающихся произведения романтической литературы – «Дом о семи фронтонах» Готорна и роман о Белом Ките.

У мелвилловского шедевра сложная творческая история. Попытки восстановить ее, опираясь на переписку Мелвилла, дают нам картину приблизительную, неполную, хотя в общих чертах достоверную. Судя по всему, писатель замыслил создать еще один морской роман, посвященный на сей раз китобойному флоту. Он должен был как бы заключать морскую трилогию («Редберн», «Белый Бушлат», «Моби Дик»), охватывающую все виды мореплавания в Америке XIX столетия. По-видимому, Мелвилл хотел написать приключенческий роман о китобойном промысле, но вместе с тем книгу, материал которой допускал бы широчайшие обобщения экономического, социального, политического, философского характера, затрагивающие всю жизнь Соединенных Штатов, а может быть, и всего человечества. В этом первоначальном замысле уже была заложена неизбежность усиления символического начала в мелвилловском романтизме, которая реализовалась в окончательном тексте романа.

Однако путь к окончательному тексту был нелегок. Финансовые трудности держали писателя в тисках. Долги росли, как снежный ком. Мелвилла не покидала мысль о необходимости коммерческого успеха. Памятуя об уроках «Марди», он держал в железной узде свою склонность к отвлеченным построениям и запирали крепкими шлюзами поток обобщающей философской мысли. Он должен был написать популярный приключенческий роман, хотя все в нем, включая присущее ему чувство ответственности писателя перед временем, историей, обществом, протестовало против этого. В письмах к Готорну Мелвилл жаловался, что не имеет права писать так, как ему хочется, но и «писать совершенно иначе тоже не в состоянии». Так длилось довольно долго. Писатель сражался не столько с Белым Китом, сколько с самим собой, и, кажется, даже побеждал себя. Во всяком случае, осенью 1850 года он писал издателям, что надеется в ближайшее время представить рукопись.

Далее начинается «темный» период в истории романа. Мелвилл не представил рукопись «в ближайшее время». Он продолжал трудиться над ней еще почти год, и в результате получился не популярный приключенческий роман, а нечто совершенно иное – грандиозное эпическое полотно, воплотившее в сложнейшей системе символов настоящее, прошлое и будущее Америки.

Что же случилось? Что побудило Мелвилла «открыть шлюзы» и выпустить рвавшиеся на волю мысли, идеи, образы? Среди историков литературы существуют всякие предположения. Некоторые критики ищут объяснения во влиянии Готорна, другие говорят о воздействии шекспировских трагедий, которые Мелвилл читал, работая над «Моби Диком», третьи видят причину в общем характере социально-исторического развития Америки, в политической атмосфере того времени. Думается, что правы именно третьи, невзирая на то, что следы влияния Готорна и шекспировского наследия видны в тексте вполне отчетливо.

Напомним, что к середине века социально-экономические, политические, идеологические противоречия в жизни Соединенных Штатов достигли беспрецедентной остроты. В сентябре 1850 года конгресс под давлением южан принял бесчеловечный закон о беглых неграх, как бы распространив статус рабовладельческого общества на всю страну. Страна всколыхнулась. Аболиционистское движение приняло массовый характер. Народ митинговал, протестуя против варварских актов правительства. Антирабовладельческая тема ворвалась в литературу и заняла в ней господствующее положение: Бичер Стоу взялась за «Хижину дяди Тома», Р. Хилдрет – за переделку «Арчи Мура» («Белый раб»), Джон Уиттьер клеймил рабовладение в страстных стихах. Брошюры, памфлеты, листовки печатались тысячами. Генри Торо произнес (а затем и напечатал) знаменитую речь «Рабство в Массачусетсе», где отрекался от своей родины... Этот перечень можно было бы продолжить, называя имена известных и не очень известных писателей, публицистов, философов... Америка напоминала паровой котел, в котором давление далеко превысило допустимые нормы, а стрелка манометра ушла за красную черту, предвещая скорый взрыв. Страна катилась к гражданской войне, незаметно для себя перевалив тот рубеж, когда обратно пути уже нет. Мелвилл, разумеется, этого не знал, но ощущение его было верным: он предвидел катастрофичность ближайшего будущего. А потому было чрезвычайно важно установить причину всех причин, понять, какие законы, силы или, может быть, Высшая Воля направляют поступки человека, народов, государств. На что могут рассчитывать американцы в момент кризиса?

В свете этих обстоятельств все соображения относительно популярности и коммерческого успеха утрачивали силу, отступая перед социальной ответственностью писателя. Мелвилл начал перестраивать роман. Идеологический материал был огромен. Ни одна из существующих художественных структур не могла бы его выдержать. Потребовался новый, доселе неизвестный тип повествования, который мы условно назовем синтетическим романом. Конечно, «Моби Дик» – это приключенческий роман, но также и «производственный», «морской», «социальный», «философский» и, если угодно, «роман воспитания». Все эти аспекты не соседствуют в книге, не сосуществуют, но проросли друг в друга, образуя нерасторжимое целое, пронизанное сложнейшей системой многозначных символов. К сказанному добавим, что повествование связано единой стилистикой (в ней как раз и ощущается влияние Шекспира и Готорна), сцементировано неповторимым мелвилловским языком, которые критики охотно уподобляют океанской волне.

Общепризнано, что «Моби Дик» – одна из вершин романтического символизма в американской, да, пожалуй, и в мировой литературе. Сложнейшая система символов образует, так сказать, эстетический фундамент романа. Все в нем – события, факты, авторские описания и размышления, человеческие характеры – имеет, кроме прямого, поверхностного, еще и главный, символический смысл. Среди критиков царит также полное согласие относительно того, что мелвилловские символы характеризуются универсальностью и высокой степенью отвлеченности. При этом из поля зрения уходит тот факт, что символика в «Моби Дике», при всей ее абстрактности, вырастает непосредственно из современной писателю социально-политической действительности.

Обратимся к группе символов, сопряженных с плаванием «Пекода». Сам «Пекод» в его символическом значении не требует каких-либо усилий при истолковании. Корабль-государство – символ традиционный, известный литературе еще со времен Средневековья. Но в «Моби Дике» он существует не сам по себе. Успех или неуспех плавания корабля зависит от многих моментов, но прежде всего от трех персонажей: судовладельца Вилдада, капитана Ахава и его старшего помощника Старбека. Вилдад стар. Он – набожный стяжатель и лицемер – классический образец старого пуританина. В нем почти не осталось энергии, а та, что сохранилась, уходит в скопидомство. Старбек тоже благочестив и набожен, но не лицемерен. Он опытный моряк и искусный китобой, но в нем нет инициативы и размаха. Он не очень уверен в себе и в

своих жизненных целях. Наконец, Ахав – характер сложный, противоречивый, многозначный. В нем сплавлены романтическая таинственность, непредсказуемость поступков, фанатическая ненависть ко злу и безграничная способность творить его, маниакальное упорство в стремлении к поставленной цели и способность пожертвовать ради ее достижения кораблем, жизнью команды и даже собственной жизнью. Для Ахава не существует преград.

Различие этих характеров очевидно, но, чтобы понять их истинный смысл и значение в повествовании, необходимо обратить внимание на то, что их объединяет: они все – новоанглийские квакеры, потомки первых поселенцев, наследники «пионеров». И это знаменательно. Мелвилл всегда питал особенный интерес к Новой Англии, и не только потому, что сам был потомком пуритан. В Новой Англии ему виделся, и совершенно справедливо, гегемон социально-исторического прогресса Америки. Новая Англия задавала тон во многих областях национальной жизни и особенно в экономике. Именно эта группа штатов первой стала на путь промышленно-капиталистического развития. Судьба нации во многом зависела от того, что подумают или сделают жители Массачусетса, Нью-Гемпшира или Коннектикута. Отсюда повышенный интерес писателя к новоанглийским устоям, нравам, характерам. В свете сказанного характеры трех новоанглийских квакеров в романе обретают дополнительное символическое значение. Вилдад, с его благочестием, беззастенчивой жадой наживы, нежеланием рисковать, старческим бессилием и мелочностью, символизирует вчерашний день Новой Англии, ее прошлое. Риск, далекие плаванья по бурным морям – не для него. «Пекод» уходит в рейс, Вилдад остается на берегу. Старбек – это сегодняшний день и, как всякий сегодняшний день, несколько смутен. Он может вывести корабль в плавание, но ему незнакомо ощущение великой цели. Он безынициативен и не способен уйти из-под власти вчерашнего дня. Он обязательно привел бы «Пекод» назад к Вилдаду. Иное дело Ахав. Его образ может быть соотнесен с деятелями новой формации, которая складывалась в середине XIX века, когда новые «пионеры» уже не расчищали лесов под посевы, не оборонялись от индейцев и хищных зверей, укрывшись за деревянным частоколом. Они строили заводы и фабрики, корабли и железные дороги. Они торговали с целым светом и открывали банки в американских городах. Они были лидерами прогресса, способствовали экономическому процветанию родины (во что бы это процветание ни обходилось народу) и считали себя солью земли. В их мире бизнес был верховным властью, обогащение – высшей целью, в жертву которой приносилось все, в том числе и человеческая жизнь. Конечно, Ахав не бизнесмен и не «капитан индустрии». Эти герои появятся позже в творчестве Норриса, Драйзера, Синклера Льюиса и др. Но его целеустремленность, способность перешагнуть через любые препятствия, его умение не смущаться понятиями о справедливости, отсутствие страха, жалости, сострадания, его отвага и предприимчивость, а главное, размах и железная хватка – все это позволяет видеть в нем «пророческий образ будущих строителей империи второй половины века»,² каждый из которых преследовал своего Белого Кита, преступая юридические, человеческие и божеские законы.

Другая группа символических значений связана с фанатическим безумием капитана Ахава, погубившего доверенный ему корабль и жизнь всей команды (за исключением Измаила). Фанатизм и безумие – не новые сюжеты для мировой литературы, да и в американской мы найдем немало сочинений, трактующих эти предметы, начиная от романов Брокдена Брауна и кончая рассказами По. Но вот что обращает на себя внимание: в творчестве американских романтиков на рубеже сороковых и пятидесятих годов проблема Зла, чинимого фанатиками во имя торжества Добра, и вообще проблема фанатизма заняла весьма важное место. Многие писатели обращались в эти годы к истории пуританских поселений Новой Англии, к тем ее эпизодам, когда религиозные фанатики, пытаясь истребить мнимое Зло, тем самым творили зло реальное и непоправимое. Не случайно Сейлемский процесс над «ведьмами» сделался

² Matthissen F.O. The American Renaissance. N.Y., 1941. P. 459.

модным сюжетом в литературе. Ему посвятили свои сочинения Лонгфелло, Мэтьюз, Готорн и другие писатели.

Понять природу интереса к проблеме фанатизма несложно, ибо в указанное время проблема эта имела не только нравственно-психологический, но и общественно-политический смысл. Основным конфликтом той эпохи был конфликт между Севером и Югом. К концу сороковых годов накал политических страстей достиг необычайно высокой степени. Южане с ожесточением дрались за новые территории и вынуждали конгресс к таким законодательным мерам, которые сулили выгоду плантационному хозяйству. Они были готовы на все, вплоть до государственного раскола и выхода южных штатов из Союза. В глазах Мелвилла они были фанатиками, готовыми в своем ослеплении погубить Америку. Не меньше пугали его и новоанглийские аболиционисты, которые вкладывали в дело освобождения негров весь свой пуританский пыл. Аболиционистов не могли остановить ни расправы, ни погромы, ни закон. Они уже ощущали сияние мученического венца над головой.

Известно, что Мелвилл был сторонником аболиционистов, хоть и не принадлежал к ним. Идея уничтожения рабства и расовой дискриминации была чрезвычайно близка ему. (Она тоже получила символическое отражение в романе.) Он понимал, что социальное Зло, конкретно воплощенное в рабовладельческой системе, было вполне реальным. Вместе с тем ему представлялось, что фанатизм в борьбе, даже если это борьба за правое дело, может привести к еще большему злу, к страшной катастрофе. Отсюда символика фанатического безумия. Ахав – сильный и благородный дух. Он восстал против мирового Зла. Но он фанатик, и потому его попытка достигнуть прекрасной цели оказалась гибельной.

Таким образом, мы видим, что, сколь бы сложной, абстрактной и «универсальной» ни была система символов в «Моби Дике», она имеет своим основанием живую реальность национальной жизни.

Художественное исследование, предпринятое Мелвиллом, привело его к неутешительным выводам. Если попытаться кратко сформулировать философские итоги «Моби Дика», то получится примерно следующее: в мире (и даже во вселенной) нет никакой высшей силы или провиденциальных законов, направляющих жизнь человека и общества и несущих за это ответственность. В борьбе со Злом у человека нет наставников и помощников. Ему не на что надеяться, разве что на себя. Это был чрезвычайно смелый вывод. Мелвилл «отменил бога». Недаром в письме к Готорну, написанном тотчас по окончании «Моби Дика», он заявил: «Я написал крамольную книгу...»

Современники не приняли творение Мелвилла. Они предпочли его «не понять», ссылаясь на «странную» и «туманную» философию, которой насыщено повествование. Поняли роман и приняли его – единицы. Среди них – Готорн. Так случилось, что Белый Кит лег на дно, с тем чтобы всплыть и продемонстрировать свою мощь лишь спустя три четверти века.³

* * *

«Моби Дик» был высшей точкой в творческой эволюции Мелвилла. Дальше начинается спад. Мелвилл не стал писать меньше. В ближайшее пятилетие он создал ряд повестей и рассказов (большая их часть собрана в книге «Веранда») и три романа. Но во всем этом не было уже прежней масштабности и глубины.

Среди разнообразных моментов, окрасивших жизнь Мелвилла после 1851 года, выделим два: одиночество и «эффект неудачи». Одиночество явилось следствием разного рода объективных обстоятельств: Готорн покинул Ленокс и перебрался в Вест-Ньютон, а затем в Конкорд; распалась «Молодая Америка»; неурядицы в домашней жизни способствовали некоторому

³ О романе «Моби Дик» см. также в послесловии к настоящему изданию.

отчуждению от семейных дел. Мелвилл никогда не был интровертом, погруженным в себя, и общение составляло важную часть его существования как писателя. Теперь он вынужден был замкнуться в себе. Это угнетало его. Одиночество среди людей стало подспудной темой многих его сочинений и особенно остро проявилось в повести «Писец Бартлби».

Что касается «эффекта неудачи», то здесь мы имеем дело с понятием достаточно сложным. Речь идет, разумеется, о неудаче «Моби Дика». Мелвилл вовсе не считал, что роман ему не удался, что он не сумел осуществить поставленной перед собой цели. Напротив, он был вполне удовлетворен результатами своего труда. Неудача состояла в другом: Америка не услышала пророчеств Мелвилла. Писатель не сумел «достучаться» до сознания соотечественников. Они не хотели или не могли его понять. Форма романа и впрямь была непривычной, но что мешало американским читателям воспринять необычность формы и нетрадиционность идей? Этот вопрос заставил писателя задуматься над двумя важными проблемами. Одна из них затрагивала область читательских вкусов. Как они возникают? Что их формирует? Другая – состоятельность той системы художественных принципов, на которую опирался Мелвилл и которую мы сегодня называем романтическим методом. Означенные проблемы легли в основу некоторых его рассказов (например, «Веранда» и «Скрипач») и романа «Пьер, или Двусмысленности».

«Пьер» совершенно непохож на все, что ранее выходило из-под пера Мелвилла. В нем читатель находил полный набор романтических и даже «готических» штампов: чудовищно запутанный сюжет, роковые страсти, убийства, самоубийства, мотивы кровосмесительной любви и т.п. И все это сопровождалось ироническим комментарием автора, который, с одной стороны, будто бы был вполне серьезен, а с другой – ни за что не хотел принимать всерьез поведение и мысли своих героев. У нас есть все основания считать «Пьера» злой пародией на популярную беллетристику середины века. Но этим дело не исчерпывается. «Пьер» – это еще и роман о литературе. Его герой – молодой писатель, пытающийся составить себе имя сочинением романов и повестей. Мелвилл проводит его через литературные кружки и салоны, через редакции и издательства, с тем чтобы привести к полному поражению. «Литературная» часть романа написана не менее зло, чем любовно-романтическая. И если последнюю мы можем назвать пародией, то первая вполне подходит под определение сатиры. Мелвилл не пощадил никого, не сделал даже исключения для «Молодой Америки», сатирическому изображению которой посвятил целую главу. В завершение характеристики романа добавим, что он весь пронизан самоиронией. Мелвилл занял здесь позицию «иронического романтика», то есть художника, который, по определению Ф. Шлегеля – одного из теоретиков немецкого романтизма, оказавшего сильное влияние на европейскую и американскую эстетику, – «с высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда и собственное искусство, и добродетель, и гениальность».⁴

Как художественное явление «Пьер» стоит невысоко и не прибавляет Мелвиллу писательской славы. Но дело даже не в этом. Ни один писатель не застрахован от неудачи. Существеннее здесь другое: в условиях Америки середины пятидесятих годов XIX века скептицизм романтической иронии вел к заключению о бессилии художника, о бессмысленности любых попыток говорить горькую правду, ибо люди, живущие по законам выгоды, не захотят ее понять. Не случайно в романе возникает тезис о бесполезности всех книг. По-видимому, тезис этот имеет некоторое отношение и к собственной писательской судьбе Мелвилла, который «замолчал» как прозаик через пять лет после публикации «Пьера».

⁴ Шлегель Ф. Из «Критических (Ликейских) фрагментов» // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 52.

* * *

В рассказах, повестях, романах середины пятидесятих годов Мелвилл постоянно обращался к проблемам, более всего тревожившим современников. Среди них на первое место выдвигались проблемы войны и рабства. Следует, однако, подчеркнуть, что трактовка их у Мелвилла носит своеобразный характер. Писатель отказывается рассматривать их в политическом или религиозном аспекте. Уроки «Моби Дика» не прошли для него даром. Он пришел к той же мысли, что и некоторые другие романтики (каждый своим путем), а именно: что будущее Америки зависит от общественного поведения американцев, которое определяется индивидуальной нравственностью и социальными нравами. На протяжении долгих лет два поколения романтиков занимались пристальным изучением американских нравов. Романтики младшего поколения по примеру своих старших собратьев вновь обратились к прошлому, к истории. Они возродили исторический роман, но придали ему совершенно новые черты. Их интересовали уже не героические страницы славного прошлого, а исторические корни современных нравов, происхождение той системы этических ценностей, которая могла погубить страну. Эталоном жанра стала «Алая буква» Готорна.

Единственный исторический роман Мелвилла «Израиль Поттер. Пятьдесят лет его изгнания», при всей его самобытности, явление вполне характерное. Это роман о войне, о солдатской судьбе, повествование на тему «победитель не получает ничего». Герой его – рядовой солдат, «творец независимой Америки», один из десятков тысяч добровольцев, отдавших родине все и не получивших никакой награды. Всю свою жизнь он провел в изнурительной борьбе за кусок хлеба и умер нищим.

Специфика «Израиля Поттера» как исторического повествования состоит в том, что события истории играют здесь второстепенную роль. Основное выражение авторская мысль получает через взаимодействие, а иногда – просто взаимоотношение характеров. Таких характеров в романе – четыре, и все они являются реальными историческими лицами. Это – безвестный солдат Израиль Поттер, ученый и дипломат Бенджамин Франклин, авантюрист и флотоводец Джон Поль Джонс и «герой Тикондероги», командир «Зеленых Горцев» Вермонта Итен Аллен.

Мелвилл исходил из представления, согласно которому всякая нравственность, индивидуальная и социальная, формируется на базе естественных этических склонностей человека или народа, подвергающихся воздействию определенных моральных концепций. Носителем естественной нравственной склонности в романе является заглавный герой – человек из народа: фермер, траппер, матрос. Он честен и трудолюбив. Он любит свою родину и готов отдать за нее жизнь и свободу. Он не спрашивает себя, за что он ее любит. Участие в Войне за независимость для него не есть исполнение долга или обязанности, но – естественная потребность. В нем есть некая внутренняя независимость, духовная свобода, определяющая его поступки и слова. Вместе с тем Израиль Поттер – это характер, почти лишенный индивидуальности. Он схематичен и до известной степени условен. По замыслу автора, он – не столько личность, сколько возможность личности. Он являет собой некую основу, на которой мог бы формироваться «идеальный» национальный характер. Его нравственность – естественная нравственность, и в таком виде не годится для общественного употребления, о чем и свидетельствует горькая его судьба.

Мелвилл полагал, что в современниках-американцах естественная нравственная основа исчезла под всевозможными наслоениями, глушившими внутреннюю свободу и независимость человека. Слишком много сомнительных «правил», слишком много ложных представлений о смысле человеческой деятельности нацелено на разрушение здоровой народной основы. О каких, собственно, правилах и представлениях идет речь? О тех самых, которые мы име-

нуем этикой буржуазного общества (или «делового мира») и которые впервые для своих соотечественников сформулировал Бенджамин Франклин. Не случайно Мелвилл в своем романе обошел вниманием многообразную деятельность Франклина как ученого, философа, просветителя, дипломата, сохранив за ним только одну роль – роль моралиста.

Франклиновская этическая система, являвшая собой альфу и омегу буржуазной морали XIX века, представлялась Мелвиллу огромной паутиной, опутавшей сознание соотечественников и не допускавшей свободного проявления естественного нравственного чувства. Мелвилл не был одинок в этом своем ощущении. Сошлемся хотя бы на пример Эмерсона и Торо, которые тоже были озабочены указанной проблемой. Теоретическое разрешение ее они связывали с концепциями «доверия к себе» (Эмерсон) и «пассивного сопротивления» (Торо). Мелвилл был знаком с этими концепциями и подверг их художественной проверке в одной из лучших своих повестей («Бартлби»), которую нередко сравнивают с творениями Гоголя и Достоевского. Проверка дала негативный результат. Герой, «доверившийся себе» и отважившийся на «пассивное сопротивление», погибает. Его антипод (рассказчик) – носитель франклиновской морали, глушащий голос естественной совести филантропическими деяниями, – благоденствует и процветает. Иными словами, Мелвилл не разделял трансцендентального оптимизма. Единственная призрачная надежда рисовалась ему в туманном облике «нового человека», который должен был явиться с далекого легендарного Запада.

* * *

Эти же самые проблемы, то есть проблемы нравственности и нравов в их соотносительности с общественной практикой, взятые в психологическом и философском аспекте, составляют содержание последнего, самого иронического, жестокого и пессимистического романа Мелвилла «Искуситель». Впрочем, трудно найти среди его сочинений пятидесятых годов такое, где они не присутствовали бы. Каковы бы ни были темы его рассказов и повестей – война («Израиль Поттер»), рабство («Бенито Серено», «Энкантадас»), назначение искусства и судьба художника («Веранда», «Скрипач», «Башня с колоколом») – все они трактуются преимущественно в нравственно-психологическом аспекте.

Закончив «Искусителя», Мелвилл почувствовал, что дошел до конца пути. Ощущение это было сложным. Им владела огромная усталость: за десять лет он написал девять романов и книгу повестей, не считая журнальных статей и очерков. Силы его подошли к концу. Но было тут и другое. Жизнь стремительно шла вперед, и романтический метод перестал справляться с материалом действительности. Мелвилл-романтик остро это почувствовал. Он попытался преодолеть кризис романтической идеологии, оставаясь в рамках романтического мышления. Из этого ничего не вышло. Ему казалось, что дальше пути нет. Отсюда ощущение, что жизнь прожита, хотя было ему всего тридцать семь лет. Отсюда же состояние депрессии, наложившееся на общую усталость.

Жена, братья и многочисленные родственники пришли к единодушному заключению: «Герман не должен больше писать». Великий бунтарь не взбунтовался против этого приговора. Все считали, что ему следует отдохнуть, совершить путешествие, а тесть даже дал денег (в долг, разумеется). Осенью 1856 года началось путешествие, которое длилось полтора года и осталось в памяти Мелвилла на всю жизнь. Запас впечатлений был огромен, но Мелвилл не очень понимал, что с ними делать. Он даже не вел записей.

Тем временем родственники и друзья развили кипучую деятельность в надежде раздобыть для Мелвилла какую-нибудь государственную должность, желательно по дипломатической линии. Отчего же нет? Ирвинг был послом в Мадриде, Купер – консулом в Лионе, Готорн – в Ливерпуле. Однако усилия оказались тщетны. Тогда родилась новая идея: Мелвилл должен выступать с лекциями, тем более что в те времена писательские лекционные турне

были делом широко распространенным. Чтение лекций (или отрывков из собственных произведений) было своего рода материальной помощью, дававшей литератору возможность продержаться от гонорара до гонорара. Мелвилл читал лекции в течение трех лет, совершая далекие поездки по городам провинциальной Америки. Позднее Мелвилл сделал еще несколько попыток поступить на государственную службу, но все они оказались безуспешны. Только в 1866 году он получил должность помощника инспектора нью-йоркской таможни. Началась новая, непривычная жизнь. Рано утром он уходил из дома и до вечера занимался досмотром грузов. В любой час дня и в любую погоду его можно было видеть в гавани или в таможенной конторе.

Таможенная служба длилась девятнадцать лет. Мелвилл ушел в отставку в 1885 году, за шесть лет до смерти. На поверхностный взгляд может показаться, что жизнь Америки и движение литературы катились мимо него, мало его задевая. Но это не так. Мелвилл остро переживал трагические повороты американской истории. Гражданская война и реконструкция Юга оставили тягостный след в его душе. Он отказался от статуса профессионального литератора, но не перестал быть писателем. Просто теперь он перестал зависеть от издательств и гонораров и не должен был оглядываться на вкусы публики. И писал он теперь немного – только в свободное время, а такого времени было мало.

Еще в конце пятидесятых годов Мелвилл начал писать стихи и писал их до самой смерти. Его поэтическое наследие образуют несколько стихотворных сборников («Батальные сцены и война с разных точек зрения» – 1866, «Джон Марр и другие матросы» – 1888, «Тимолон» – 1891), большая философская поэма «Клэрел» (1876) и множество разрозненных стихотворений, большинство из которых увидело свет лишь после смерти Мелвилла.

Поэзия Мелвилла в целом носит лирико-философский характер и в этом плане перекликается с поэтическим наследием Эмерсона. Однако в основе поэзии Мелвилла лежит не только абстрактное размышление, но и живая жизнь Америки того времени. Подтверждением тому служат стихи о Гражданской войне «Батальные сцены» и сборник «Джон Марр и другие матросы». Современники обратили внимание на необычность формы мелвилловского стиха, значительно отличавшейся от традиционной романтической поэтики и по структуре своей нередко приближавшейся к прозаической речи. Исследователи нашего времени, обладая преимуществом временной дистанции, без труда установили ее родственность «вольной» поэтике Уитмена. Стало ясно, что Мелвилл сказал новое слово и в поэзии. Недаром сегодня его стихотворные сборники переиздаются многотысячными тиражами.

Уйдя в отставку в 1885 году, Мелвилл вернулся к активной литературной деятельности. К этому времени у него накопилось множество набросков, заметок, незавершенных стихотворений. Он начал приводить их в порядок. Два сборника, «Джон Марр» и «Тимолон», ему удалось опубликовать при жизни. Как поэт Мелвилл не искал популярности. Он издал эти сборники за свой собственный счет тиражом 25 экземпляров. Остальное пролежало в его архиве более тридцати лет, прежде чем увидело свет.

«Лебединой песней» позднего Мелвилла явилась повесть «Билли Бадд, фор-марсовый матрос», над которой писатель начал работать в 1888 году. Он завершил ее незадолго до смерти. «Билли Бадд» во многом напоминает повести Мелвилла пятидесятых годов, такие, как «Бенито Серено» или «Писец Бартлби». Писатель вновь обратился к нравственно-философскому истолкованию бытия человека и общества. Однако сорок лет, прошедшие со времени «Бенито Серено», – а за это время в Америке случилось многое, в том числе Гражданская война, – существенно повлияли на представления Мелвилла, на его понимание социальной этики. Неудивительно, что разрешение центрального конфликта между человечностью и законом в «Билли Бадде», если рассматривать его в одном ряду с ранними повестями, поражает неожиданностью. В конфликте между природой человека и юридическим законом Мелвилл оказался на стороне закона, что совершенно противоречило всем традициям романтической идеологии. Это был уже другой Мелвилл.

«Билли Бадд» разделил судьбу многих сочинений позднего Мелвилла. Он был впервые напечатан в 1924 году и тут же признан одним из высших достижений американской «мало-форматной» прозы. Такая оценка никого не удивила. К этому времени Мелвилл уже занял подобающее ему место в американской литературе.

Ю. Ковалев

Моби Дик, или Белый Кит

*Натаниэлю Готорну в знак преклонения перед его гением
посвящается эта книга*

Этимология

(Сведения, собранные Помощником учителя классической гимназии, впоследствии скончавшимся от чахотки.)

Я вижу его как сейчас – такого бледного, в поношенном сюртуке и с такими же поношенными мозгами, душой и телом. Он целыми днями стирал пыль со старых словарей и грамматик своим необыкновенным носовым платком, украшенным, словно в насмешку, пестрыми флагами всех наций мира. Ему нравилось стирать пыль со старых грамматик; это мирное занятие наводило его на мысль о смерти.

«Если ты берешься наставлять других и обучать их тому, что в нашем языке рыба-кит именуется словом whale, опуская при этом, по собственной необразованности, букву h, которая одна выражает почти все значение этого слова, ты насаждаешь не знания, но заблуждения».

Хаклюйт

Whale*** шведск. и датск. hval. Название этого животного связано с понятием округлости, так как по-датски hvalt означает «выгнутый, сводчатый».

Словарь Вебстера

Whale*** происходит непосредственно от голландского и немецкого wallen, англосакск. walw-ian – «кататься, барахтаться».

Словарь Ричардсона

Древнееврейское – װל

Греческое – χητος

Латинское – etus

Англосаксонское – whoel

Датское – hvalt

Голландское – wal

Шведское – hwal

Исландское – whale

Английское – whale

Французское – baleine

Испанское – ballena

Фиджи – пеки-нуи-нуи

Эрроманго – пехи-нуи-нуи

Извлечения (Собранные Младшим Помощником библиотекаря)

Читатель сможет убедиться, что этот бедняга Младший Помощник, немудрящий буквоед и книжный червь, перерыл целые ватиканские библиотеки и все лавки букинистов на свете в поисках любых – хотя бы случайных – упоминаний о китах, которые могли только встретиться ему в каких бы то ни было книгах, от священных до богохульных. И потому не следует во всех случаях понимать эти беспорядочные китовые цитаты, хотя и несомненно подлинные, за святое и неоспоримое евангелие цетологии. Это вовсе не так. Отрывки из трудов всех этих древних авторов и упоминаемых здесь поэтов представляют для нас интерес и ценность лишь постольку, поскольку они дают нам общий взгляд с птичьего полета на все то, что только ни было когда-либо, в любой связи и по любому поводу, сказано, придумано, упомянуто и спето о Левиафане всеми нациями и поколениями, включая теперешние.

Итак, прощай, бедняга Младший Помощник, чьим комментатором я выступаю. Ты принадлежишь к тому безрадостному племени, которое в этом мире никаким вином не согреть и для кого даже белый херес оказался бы слишком розовым и крепким; но с такими, как ты, приятно иногда посидеть вдвоем, чувствуя себя тоже несчастным и одиноким, и, упиваясь пролитыми слезами, проникаться дружелюбием к своему собеседнику; и хочется сказать вам прямо, без обиняков, пока глаза наши мокры, а стаканы сухи и на сердце – сладкая печаль: «Бросьте вы это дело. Младшие Помощники! Ведь чем больше усилий будете вы прилагать к тому, чтобы угодить миру, тем меньше благодарности вы дождетесь! Эх, если б мог я очистить для вас Хэмптон-Корт или Тюильрийский дворец! Но глотайте скорее ваши слезы и вскиньте голову, воспарите духом! выше, выше, на самый топ грот-мачты! ибо товарищи ваши, опередившие вас, освобождают для вас семиэтажные небеса, изгоняя прочь перед вашим приходом истинных баловней – Гавриила, Михаила и Рафаила. Здесь мы только чокаемся разбитыми сердцами – там вы сможете сдвинуть разом свои небьющиеся кубки!»

Извлечения

«И сотворил Бог больших китов».

Бытие

«За Левиафаном светится стезя,
Бездна кажется сединой».

Иов

«И предуготовил Господь большую рыбу, чтобы поглотила Иону».

Иона

«Там плавают корабли; там Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем».

Псалмы

«В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим, и крепким, левиафана, змея прямобегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет змея морского».

Исайя

«И какой бы еще предмет ни очутился в хаосе пасти этого чудовища, будь то зверь, корабль или камень, мгновенно исчезает он в его огромной зловонной глотке и гибнет в черной бездне его брюха».

Холландов перевод «Моралий» Плутарха

«В Индийском Море водятся величайшие и огромнейшие рыбы, какие существуют на свете; среди них Киты, или Водокруты, именуемые Balaene, которые имеют в длину столько же, сколько четыре акра, или арпана, земли».

Холландов перевод Плиния

«И двух дней не провели мы в плавании, как вдруг однажды на рассвете увидели великое множество китов и прочих морских чудовищ. Из них один обладал поистине исполинскими размерами. Он приблизился к нам, держа свою пасть разинутой, подымая волны по бокам и вспенивая море перед собою».

Тук. Перевод «Правдивой истории» Лукиана

«Он прибыл в нашу страну также еще и для того, чтобы ловить здесь китов, ибо клыки этих животных дают очень ценную кость, образцы коей он привез в дар королю***. Наиболее крупные киты, однако, вылавливаются у берегов его родины, из них иные имеют сорок восемь, иные же пятьдесят ярдов в длину. Он говорит, что он – с ним еще пятеро – убили по шестьдесят китов за два дня».

Рассказ Оттара, или Охтхере, записанный с его слов королем Альфредом в год от Рождества Христова 890

«И между тем как все на свете, будь то живое существо или корабль, безразлично, попадая в ужасную пропасть, какую являет собой глотка этого чудовища (кита), тут же погибает, поглощенное навеки, морской пескарь сам удаляется туда и спит там в полной безопасности».

Монтень. «Апология Реймонда Себона»

«Бежим! Провалиться мне на сем месте, это Левиафан, которого доблестный пророк Моисей описал в житии святого человека Иова».

Рабле

«Печень этого кита нагрузили на две телеги».

Стоу. «Анналы»

«Великий Левиафан, заставляющий море пениться, подобно кипящему котлу».

Лорд Бэкон. Перевод Псалмов

«Касательно же чудовищной туши кита, или орки, мы не располагаем сколь-нибудь определенными сведениями. Оные существа достигают чрезвычайного объема, так что из одного кита может быть получено прямо-таки невероятное количество жира».

«История жизни и смерти»

«И хвалил мне спермацет
Как лучшее лекарство от контузий».

«Король Генрих IV»

«Очень похоже на кита».

«Гамлет»

«Кто может днесь его остановить?
Он рвется в бой и кровию залитый,
Чтоб низкому обидчику отмстить.
Не примет он пощады и защиты.
Так к берегу по волнам несется кит
подбитый».

«Королева фей»

«...грандиозен, точно кит, который движениями своего гигантского тела заставляет вскипать океан даже в мертвый штиль».

Сэр Уильям Давенант. Предисловие к «Гондиберту»

«Что представляет собой спермацет, этого люди, по правде говоря, не знают, ибо даже ученейший Хофманнус после тридцатилетних исследований открыто признал в своей книге: nescio quid sit».⁵

Сэр Т. Браун. «О спермацете и спермацетовом ките». См. его «Трактат о распространенных заблуждениях»

«Как Спенсеров герой своим цепом,
Хвостом он сеет смерть и страх кругом.
* * *

В боку несет он копий целый лес,
Плывя вперед, волнам наперерез».

Уоллер. «Битва у Летних островов»

«Искусством создан тот великий Левиафан, который называется государством (по-латыни Civitas) и который является лишь искусственным человеком».

Гоббс. Вводный параграф из «Левиафана»

«Неосторожный город Мэнсуол так и заглотал его целиком, точно кит рыбешку».

«Путь паломника»

«Тот зверь морской,
Левиафан, кого из всех творений
Всех больше создал Бог в пучине водной».

«Потерянный рай»

⁵ Не знаю, что сие (лат.).

«Левиафан,
Величественнейший из Божьих тварей,
Плывет иль дремлет он в глуби подводной,
Подобен острову плавающему. Вдыхая,
Моря воды он втягивает грудью,
Чтобы затем их к небесам извергнуть».

Там же

«Величавые киты, что плавают в море воды, в то время как море масла плавает в них».

Фуллер. «Мирская и божественная власть»

«Левиафан, за мысом притаясь,
Добычу поджидает без движенья,
И та в разверстую стремится пасть,
Вообразив, что это – путь к спасенью».

Драйден. «Annus Mirabilis»

«Покуда туша кита остается на плаву у них за кормой, голову его отрубают и на шлюпке буксируют как можно ближе к берегу, но на глубине двенадцать-тринадцать футов она уже задевает за дно».

Томас Эдж. «Десять рейсов на Шпицберген». У Парчесса

«По пути они видели много китов, резвившихся в океане и для забавы посылавших к небу через трубы и клапаны, которые природа расположила у них в плечах, целые снопы водяных брызг».

Сэр Т. Герберт. «Путешествия в Азию и Африку». Собрание Гарриса

«Здесь они встретили такие огромные полчища китов, что принуждены были вести свой корабль с величайшей осторожностью из опасения налететь на одну из этих рыб».

Скаутон. «Шестое кругосветное плавание»

«При сильном норд-осте мы отплыли из устья Эльбы на корабле «Иона-в-Китовом-Чреве»***.

Некоторые утверждают, что кит не может открыть пасть, но это все выдумки***.

Матросы обычно забираются на верхушки мачт и высматривают оттуда китов, так как первому, кто заметит кита, выдается в награду золотой дукат***.

Мне рассказывали, что у Шетлендских островов был выловлен один кит, в брюхе у которого нашли селедок больше чем на целую бочку***.

Один наш гарпунщик говорит, что как-то у Шпицбергена он забил кита, который был с головы до хвоста весь белый».

«Плавание в Гренландию» 1671 года от Р. Х. Собрание Гарриса

«Здесь, на побережье Файфа, море иногда выбрасывает на сушу китов. В лето от Рождества Христова 1652 на берег был выброшен один кит, имевший

восемьдесят футов в длину и относившийся к разновидности усатых; как мне сообщили, из его туши было добыто, помимо большого количества жира, не менее 500 аршин китового уса. Его челюсть установлена в виде арки в саду Питферрена».

Сиббальд. «Файф и Кинросс»

«Тут я сказал, что и я, пожалуй, попробую, не удастся ли мне осилить и убить того спермацетового кита, хотя мне не приходилось слышать, чтобы такие, как он, когда-либо погибали от руки человека, – настолько они стремительны и свирепы».

Ричард Страфффорд. «Письмо с Бермудских островов». Филологии, записки, 1688

«Киты в морях
Гласу Божьему внемлют».

Букварь. Изд. в Новой Англии.

«Здесь мы встретили также великое множество крупных китов, которых в Южных морях приходится, я бы сказал, штук по сто на одного, обитающего на Севере».

Капитан Каули. «Кругосветное плавание», 1729 г. от Р. Х.

«***а дыхание кита часто имеет чрезвычайно сильный запах, от которого может наступить помутнение мозгов».

Уллоа. «Южная Америка»

«Заботу же о нижней юбке лучше
Пятидесяти верным сильфам препоручим.
Ведь эта крепость уж не раз была взята,
Хоть укрепляют стены ребрами кита».

«Похищение локона»

«Если мы сравним по величине наземных животных с теми, что обитают в глубине моря, мы обнаружим, что размеры первых просто ничтожны. Кит, вне всякого сомнения, есть величайшая из тварей Божьих».

Голдсмит. «Естественная история»

«Если б Вы вздумали писать сказку для маленьких рыбок, они бы у Вас в книге разговаривали языком исполинских китов».

Голдсмит – Джонсону

«Под вечер мы увидели нечто, показавшееся нам поначалу скалой; но потом выяснилось, что то был мертвый кит, которого забили какие-то азиаты, теперь буксировавшие его к берегу. Они, видимо, пытались укрыться за тушей, дабы не быть замеченными нами».

Кук. «Путешествия»

«На тех китов, что покрупнее, они редко отваживаются нападать. Иные киты внушают им такой ужас, что они боятся даже произнести в море их имена

и возят с собой в вельботах навоз, известь, можжевельник и тому подобные предметы, чтобы отпугивать их».

Уго фон Троиль. «Письма о плавании Бэнкса и Солэндера в Исландию в 1772 г.»

«Спермацетовый кит, открытый жителями Нантакета, это свирепое и подвижное существо; он требует от рыбаков чрезвычайной ловкости и отваги».

Томас Джефферсон. Записки французскому министру об импорте китового жира, 1778 г.

«Но скажите на милость, сэр, что в мире может сравниться с ним?»

Эдмунд Бэрк. Упоминание в парламентской речи о китобойном промысле Нантакета

«Испания, этот огромный кит, выброшенный на берег Юго-Западной Европы».

Эдмунд Бэрк (где-то)

«Десятым источником законного королевского дохода, обусловленным, как полагают, тем обстоятельством, что король охраняет и защищает моря от пиратов и разбойников, является его право на королевскую рыбу, коей почитаются кит и осетр. Выброшенные на берег или же выловленные поблизости от оногo, они объявляются собственностью короля».

Блэкстон

«Вот уж снова
К смертельной схватке все готовы,
И яростный Родмонд занес над головой
Гарпун зазубренный и меткий свой».

Фолконер. «Кораблекрушение»

«Тут, освещая крыши, башни, купола,
Взлетали ввысь ракеты с громким треском,
На миг повиснувши под куполом небесным.
И отступала прочь ночная мгла.
Так – если мы сравним огонь с водой —
Взлетают кверху воды океана,
Когда в знак торжества и ликования
Их к небу посылает кит струей».

Каупер. «На посещение королевой Лондона»

«При первом же ударе из сердца с огромной силой забила струя крови. Всего вытекло галлонов пятнадцать».

Джон Хантер. «Отчет об анатомировании туши кита (небольших размеров)»

«Аорта кита превосходит в диаметре самую толстую водопроводную трубу у Лондонского моста, и вода, бегущая по этой трубе, значительно уступает в скорости и напоре струе крови, изливающейся из сердца кита».

Пэйли. «Теология»

«Кит – это млекопитающее, не имеющее задних конечностей».

Барон Кювье

«На сорок градусов южнее мы заметили кашалотов, но не начинали промысла до самого 1-го мая, когда море было буквально усеяно ими».

Колнет. «Плавание в целях дальнейшего расширения китобойного промысла»

«В стихии водной подо мной мелькали,
Резвясь, играя иль сцепившись насмерть,
Морские твари всех цветов и видов,
Каких язык не в силах описать
И ни один моряк не видел в жизни,
От страшного Левиафана до ничтожных
Мирьядами кишачих насекомых,
Что в каждой плавают соленой капле.
Послушные таинственным инстинктам,
Они свой путь находят без ошибки
В пустынном океанском бездорожье,
Хоть всюду их враги подстерегают:
Киты, акулы, гады, чье оружие —
Меч, и пила, и рог, и гнутый клык».

Монтгомери. «Мир накануне потоп»

«Слава! Пойте славу владыке рыбьему.
Нипочем тайфун и мертвая зыбь ему.
Во всей Атлантике, безбрежной и суровой,
Не сыщешь второго кита такого;
Никогда еще рыба жирнее, чем эта,
Не гуляла, не плавала по белому свету».

Чарлз Лэм. «Триумф кита»

«В лето 1690-е несколько человек стояли на высоком холме и смотрели, как киты резвятся и пускают фонтаны; и один человек сказал, указывая рукой в морскую даль: там лежит зеленое поле, куда дети наших внуков отправятся добывать свой хлеб».

Овид Мэйси. «История Нантакета»

«Я построил домик для нас с Сюзанной и в виде готической арки ворот поставил китовую челюсть».

Готорн. «Дважды рассказанные истории»

«Она пришла ко мне, чтобы посоветоваться насчет памятника человеку, которого она любила в юности и которого тому уже лет сорок назад убил кит в Тихом океане».

Там же

«Нет, сэр, это Настоящий Кит, – ответил Том, – я видел его фонтан; он выпустил к небу две радуги, до того красивые, что всякому христианину на загляденье. Эта зверюга полна маслом, что твой спермацетовый бочонок».
Купер. «Лоцман»

«Были поданы различные газеты, и, просматривая берлинские театральные новости, мы узнали, что там появляются на сцене морские чудовища и киты».
Эккерман. «Разговоры с Гете»

«Ради Бога, мистер Чейс! что случилось?» – Я ответил: «Судно столкнулось с китом, и корпус пробит».
«Описание гибели китобойца «Эссекс» из Нантакета, на которого напал в Тихом океане большой кашалот, составлено Оуэном Чейсом из Нантакета, старшим помощником капитана на упомянутом судне». Нью-Йорк, 1821

«Высоко на мачте моряк стоял,
А ветер свежел и крепчал;
То сиял, то меркнул лунный свет,
И синим фосфором вспыхивал след
Там, где кит вдали проплывал».

Элизабет Оукс Смит

«Общая длина линей, вытравленных со всех вельботов, занятых ловлей одного только кита, составила 10 440 ярдов, или почти шесть английских миль...

Кит имеет обыкновение потрясать по временам в воздухе своим чудовищным хвостом, который щелкает, словно бич, и звук этот разносится над водой на расстояние трех-четырех миль».

Скорсби

«Разъяренный от боли, которую причиняют ему эти новые нападения, кашалот принимается бешено кружиться в воде; он подымает свою огромную голову и, широко разинув пасть, разгрызает все, что ни подвернется; он бросается на вельботы и гонит их перед собой со страшной скоростью, ломая и топя их ударами могучего лба.

...Достоин всяческого удивления, что повадки столь интересного и, с коммерческой точки зрения, столь важного животного (каким является кашалот) совершенно или почти совершенно не привлекают внимания тех весьма многочисленных и подчас ученых наблюдателей, которые за последние годы, безусловно, имели немало отличных возможностей наблюдать их поведение».

Томас Бйлл. «История кашалота», 1839

«Кашалот (Спермацетовый кит) не только вооружен значительно лучше Настоящего (Гренландского) кита, так как он располагает смертоносными орудиями на обеих оконечностях своего тела, но к тому же гораздо чаще проявляет склонность пустить в ход эти орудия, что и предельывает с таким

бесстрашием и коварством, что его считают самой опасной из всех известных разновидностей китового племени».

Фредерик Дебелл Беннетт. «Промысловое плавание вокруг света», 1840

«13 октября.

– Фонтан на горизонте! – раздается с мачты.

– Где? – спрашивает капитан.

– Три румба под ветер, сэр.

– Лево руля! Так держать!

– Есть так держать, сэр!

– Эй, дозорный! А сейчас ты его видишь?

– Да, да, сэр! Их там целое стадо кашалотов! И фонтаны пускают, и из воды скачут.

– Как что увидишь – подавай голос!

– Есть, сэр. Вон фонтан! Еще – еще – еще один!

– Далеко ли?

– Мили две с половиной.

– Гром и молнии! Так близко! Свистать всех наверх!»

Дж. Росс Браун. «Зарисовки во время китобойного плавания», 1846

«Китобойное судно «Глобус», на борту которого произошли те ужасные события, какие мы собираемся здесь изложить, было приписано к острову Нантакету».

Описание бунта на корабле «Глобус», составленное Лэем и Хази, единственными уцелевшими членами команды, 1828 г. от Р. Х.

«Однажды подбитый кит стал его преследовать; сначала он пытался отражать его нападения при помощи остроги, однако разъяренное чудовище в конце концов все же набросилось на вельбот, и ему с товарищами удалось спастись только благодаря тому, что они выпрыгнули в воду, когда увидели, что защищаться невозможно».

Миссионерский дневник Тайермана и Беннетта

«И сам Нантакет, – сказал мистер Вебстер, – представляет собой весьма примечательную и своеобразную статью национального дохода. Там имеется население в восемь или девять тысяч человек, которые всю жизнь живут на море и из года в год способствуют возрастанию национального благосостояния своим мужественным и в высшей степени упорным промыслом».

Отчет о выступлении Дэниела Вебстера в Сенате в связи с законопроектом о возведении волнореза в Нантакете, 1828

«Кит рухнул прямо на него, и, по всей вероятности, смерть его последовала мгновенно».

Достопочтенный Генри Т. Чивер. «Кит и ловцы его, или Приключения китолова и жизнеописание кита, составленные во время обратного рейса на «Коммодоре Пребл»

«Попробуй только пикни, ты у меня своих не узнаешь, – отозвался Сэмюэл».

«Жизнь Сэмюэла Комстока (Бунтаря), описанная его братом Уильямом Комстоком». Другая версия рассказа о событиях на китобойце «Глобус»

«Плавания голландцев и англичан по Северному океану с целью найти, буде это окажется возможным, путь в Индию, хотя и не принесли желаемого результата, обнаружили зато области, где водятся киты».

Мак-Куллох. «Коммерческий словарь»

«Такие вещи все взаимосвязаны; мяч ударяется об землю, чтобы только выше взлететь в воздух; точно так же, открыв места, где водятся киты, китобой тем самым косвенно способствовали разрешению загадки Северо-Западного прохода».

Что-то неопубликованное

«Встретив китобоец в океане, нельзя не поразиться его видом. Судно это под зарифленными парусами на мачтах, с верхушек которых пристально всматриваются в морскую даль трое дозорных, решительно отличается от всяких прочих кораблей».

«Течения и китобойный промысел». Отчеты Американской исследовательской экспедиции

«Быть может, гуляя в окрестностях Лондона или еще где-нибудь, вы замечали длинные изогнутые кости, торчащие из земли в виде арки над воротами или над входом в беседку, и вам говорили, наверное, что это китовые ребра».

«Рассказы о промысловом плавании в Антарктическом океане»

«И только когда вельботы возвратились после погони за китами, белые обнаружили, что их судно находится в кровавых руках дикарей, бывших членами его экипажа».

Газетный отчет о том, как был потерян, а затем отбит назад китобоец «Злой Дух»

«Всем известно, что мало кто из команды китобойцев (американских) возвращается домой на борту того корабля, на котором вышел в плавание».

«Плавание на китобойном судне»

«Вдруг из воды показалась гигантская туша и подскочила вертикально вверх. Это был кит».

«Мириам Коффин, или Рыбак-китолов»

«И допустим даже, вам удалось загарпунить кита; представьте себе, как бы вы управились с резвым диким трехлетком с помощью одной только веревки, привязанной к репице его хвоста».

«Кости и тряпки». Глава о китобойном деле

«Однажды я имел возможность наблюдать двоих таких чудовищ (китов), вероятно, самца и самку, которые медленно плыли друг за другом так близко от осененного буковыми рощами берега (Огненной Земли), что до них, казалось, камнем можно было добросить».

Дарвин. «Путешествие натуралиста»

«Табань! – вскричал старший помощник капитана, когда, обернувшись, увидел над самым носом шлюпки широко разинутую пасть кашалота, угрожавшего им неминуемой гибелью. – Табань, кому жизнь дорога!»
Уортон. «Смерть Китам...»

«Веселей, молодцы, подналяжем – эхой!
Загарпунил кита наш гарпунщик лихой!»

Нантакетская песня

«Старый кит-кашалот в океане живет,
И шторм, и тайфун – нипочем ему.
Он силою велик там, где сила всем велит,
Он царь всему морю огромному».

Китобойная песня

Глава I

Очертания проступают

Зовите меня Измаил. Несколько лет назад – когда именно, неважно – я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы еще занимать меня, и тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного, чтоб поглядеть на мир и с его водной стороны. Это у меня проверенный способ развеять тоску и наладить кровообращение. Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; всякий раз, как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь; всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков и пристраиваться в хвосте каждой встречной похоронной процессии; в особенности же всякий раз, как ипохондрия настолько овладевает мною, что только мои строгие моральные принципы не позволяют мне, выйдя на улицу, упорно и старательно сбивать с прохожих шляпы, я понимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее. Это заменяет мне пулю и пистолет. Катон с философическим жестом бросается грудью на меч – я же спокойно поднимаюсь на борт корабля. И ничего удивительного здесь нет. Люди просто не отдают себе в этом отчета, а то ведь многие рано или поздно по-своему начинают испытывать к океану почти такие же чувства, как и я.

Взгляните, к примеру, на город-остров Манхэттен, словно атолл коралловыми рифами, опоясанный товарными пристанями, за которыми шумит коммерция кольцом прибой. На какую бы улицу вы тут ни свернули – она обязательно приведет вас к воде. А деловой центр города и самая его оконечность – это Бэттери, откуда тянется величественный мол, омываемый волнами и овеваемый ветрами, которые всего лишь за несколько часов до этого дули в открытом море. Взгляните же на толпы людей, что стоят там и смотрят на воду.

Обойдите весь город сонным воскресным днем. Ступайте от Корлиерсовой излучины до самых доков Коентиса, а оттуда по Уайтхоллу к северу. Что же вы увидите? Вокруг всего города, точно безмолвные часовые на посту, стоят несметные полчища смертных, погруженных в созерцание океана. Одни облокотились о парапеты набережных, другие сидят на самом конце мола, третьи заглядывают за борт корабля, прибывшего из Китая, а некоторые даже вскарабкались вверх по вантам, словно для того, чтобы еще лучше видеть морские дали. И ведь это все люди сухопутных профессий, будние дни проводящие узниками в четырех стенах, прикованные к прилавкам, пригвожденные к скамьям, согбенные над конторками. В чем же тут дело? Разве нет на суше зеленых полей? Что делают здесь эти люди?

Но взгляните! Все новые толпы устремляются сюда, подходят к самой воде, словно нырять собрались. Удивительно! Они не удовлетворяются, покуда не достигнут самых крайних оконечностей суши; им мало просто посидеть вон там в тени пакгауза. Нет. Им обязательно нужно подобраться так близко к воде, как только возможно, не рискуя свалиться в волны. Тут они и стоят, растянувшись на мили, на целые лиги по берегу. Сухопутные горожане, они пришли сюда из своих переулков и тупиков, улиц и проспектов, с севера, юга, запада и востока. Но здесь они объединились. Объясните же мне, может быть, это стрелки всех компасов своей магнетической силой влекут их сюда?

Возьмем другой пример. Представьте себе, что вы за городом, где-нибудь в холмистой озерной местности. Выберите любую из бесчисленных тропинок, следуйте по ней, и – десять против одного – она приведет вас вниз к зеленому долу и исчезнет здесь, как раз в том месте, где поток разливается нешироким озерком. В этом есть какое-то волшебство. Возьмите самого рассеянного из людей, погруженного в глубочайшее раздумье, поставьте его на ноги, подтолкните, так чтобы ноги пришли в движение, – и он безошибочно приведет вас к воде, если только вода вообще есть там в окрестностях. Быть может, вам придется когда-либо терзаться муками жажды среди Великой Американской пустыни, сделайте же тогда этот эксперимент, если в

караване вашем найдется хоть один профессор метафизики. Да, да, ведь всем известно, что размышление и вода навечно неотделимы друг от друга.

Или же, например, художник. У него возникает желание написать самый поэтический, тенистый, мирный, чарующий романтический пейзаж во всей долине Сако. Какие же предметы использует он в своей картине? Вот стоят деревья, все дуплистые, словно внутри каждого сидит отшельник с распятием; здесь дремлет луг, а там дремлет стадо, а вон из того домика подымается в небо сонный дымок. На заднем плане уходит, теряясь в глубине лесов, извилистая тропка, достигая тесных горных отрогов, купающихся в прозрачной голубизне. И все же, хоть и лежит перед нами картина, погруженная в волшебный сон, хоть и роняет здесь сосна свои вздохи, словно листья, на голову пастуху – все усилия живописца останутся тщетны, покуда он не заставит своего пастуха устремить взор на бегущий перед ним ручей. Отправляйтесь в прерии в июне, когда там можно десятки миль брести по колено в траве, усеянной оранжевыми лилиями, – чего не хватает среди всего этого очарования? Воды – там нет ни капли воды! Если бы Ниагара была всего лишь низвергающимся потоком песка, стали бы люди приезжать за тысячи миль, чтобы полюбоваться ею? Почему бедный поэт из Теннесси, получив неожиданно две пригоршни серебра, стал колебаться: купить ли ему пальто, в котором он так нуждался, или же вложить эти деньги в пешую экскурсию на Рокэвей-Бич? Почему всякий нормальный, здоровый мальчишка, имеющий нормальную, здоровую мальчишечью душу, обязательно начинает рано или поздно бредить морем? Почему сами вы, впервые отправившись пассажиром в морское плавание, ощущаете мистический трепет, когда вам впервые сообщают, что берега скрылись из виду? Почему древние персы считали море священным? Почему греки выделили ему особое божество, и притом – родного брата Зевсу? Разумеется, во всем этом есть глубокий смысл. И еще более глубокий смысл заключен в повести о Нарциссе, который, будучи не в силах уловить мучительный, смутный образ, увиденный им в водоеме, бросился в воду и утонул. Но ведь и сами мы видим тот же образ во всех реках и океанах. Это – образ непостижимого фантома жизни; и здесь – вся разгадка.

Однако, когда я говорю, что имею обыкновение пускаться в плавание всякий раз, как туманится мой взгляд и легкие мои дают себя чувствовать, я не хочу быть понятым в том смысле, будто я отправляюсь в морское путешествие пассажиром. Ведь для того чтобы стать пассажиром, нужен кошелек, а кошелек – всего лишь жалкий лоскут, если в нем нет содержимого. К тому же пассажиры страдают морской болезнью, заводят склоки, не спят ночами, получают, как правило, весьма мало удовольствия; нет, я никогда не езжу пассажиром; не езжу я, хоть я и бывалый моряк, ни коммодором, ни капитаном, ни коком. Всю славу и почет, связанные с этими должностями, я предоставляю тем, кому это нравится; что до меня, то я питаю отвращение ко всем существующим и мыслимым почетным и уважаемым трудам, тяготам и тревоблениям. Достаточно с меня, если я могу позаботиться о себе самом, не забываясь еще при этом о кораблях, барках, бригах, шхунах и так далее, и тому подобное. А что касается должности кока – хоть я и признаю, что это весьма почетная должность, ведь кок – это тоже своего рода командир на борту корабля, – сам я как-то не особенно люблю жарить птицу над очагом, хотя, когда ее как следует поджарят, разумно пропитают маслом и толково посолят да поперчат, никто тогда не сможет отозваться о жареной птице с большим уважением – чтобы не сказать благоговением, – чем я. А ведь древние египтяне так далеко зашли в своем идолопоклонническом почитании жареного ибиса и печеного гиппопотама, что мы и сейчас находим в их огромных пекарнях-пирамидах мумии этих существ.

Нет, когда я иду в плавание, я иду самым обыкновенным простым матросом. Правда, при этом мною изрядно помыкают, меня гоняют по всему кораблю и заставляют прыгать с реи на рею, подобно кузнечiku на майском лугу. И поначалу это не слишком приятно. Задевает чувство чести, в особенности если происходишь из старинной сухопутной фамилии вроде Ван-Ранселиров, Рандольфов или Хардиканутов. И тем паче, если незадолго до того момента, как

тебе пришлось опустить руку в бочку с дегтем, ты в роли деревенского учителя потрясал ею самовластно, повергая в трепет самых здоровенных своих учеников. Переход из учителей в матросы довольно резкий, смею вас уверить, и требуется сильнодействующий лечебный отвар из Сенеки в смеси со стойками, чтобы вы могли с улыбкой перенести это. Да и он со временем теряет силу.

Однако что с того, если какой-нибудь старый хрыч капитан приказывает мне взять метлу и вымести палубу? Велико ли здесь унижение, если опустить его на весы Нового Завета? Вы думаете, я много потеряю во мнении архангела Гавриила, оттого что на сей раз быстро и послушно исполню приказание старого хрыча? Кто из нас не раб, скажите мне? Ну, а коли так, то как бы ни помыкали мною старые капитаны, какими бы тумакками и подзатыльниками они ни награждали меня, – я могу утешаться сознанием, что это все в порядке вещей, что каждому достается примерно одинаково – то есть, конечно, либо в физическом, либо в метафизическом смысле; и, таким образом, один вселенский подзатыльник передается от человека к человеку, и каждый в обществе чувствует скорее не локоть, а кулак соседа, чем нам и следует довольствоваться.

Кроме того, я всегда плаваю матросом потому, что в этом случае мне считают необходимым платить за мои труды, а вот что касается пассажиров, то я ни разу не слышал, чтобы им заплатили хотя бы полпенни. Напротив того, пассажиры еще сами должны платить. А между необходимостью платить и возможностью получать плату – огромная разница. Акт уплаты представляет собой, я полагаю, наиболее неприятную кару из тех, что навлекли на нас двое обирателей яблоневых садов. Но когда *тебе платят* – что может сравниться с этим! Изысканная любезность, с какой мы получаем деньги, поистине удивительна, если принять во внимание, что мы серьезно считаем деньги корнем всех земных зол и твердо верим, что богатому человеку никаким способом не удастся проникнуть на небо. Ах, как жизнерадостно миримся мы с вечной погибелью!

И наконец, я всегда плаваю матросом из-за благотного воздействия на мое здоровье физического труда на свежем воздухе полубака. Ибо в нашем мире с носа ветры дуют чаще, чем с кормы (если, конечно, не нарушать предписаний Пифагора), и потому коммодор на шканцах чаще всего получает свою порцию воздуха из вторых рук, после матросов на баке. Он-то думает, что вдыхает его первым, но это не так. Подобным же образом простой народ опережает своих вождей во многих других вещах, а вожди даже и не подозревают об этом.

Но по какой причине мне, неоднократно плававшему прежде матросом на торговых судах, взбрело на этот раз в голову пойти на китобойце – это лучше, чем кто-либо другой, сумеет объяснить невидимый офицер полиции Провидения, который содержит меня под постоянным надзором, негласно следит за мной и тайно воздействует на мои поступки. Можно не сомневаться в том, что мое плавание на китобойном судне входило составной частью в грандиозную программу, начертанную задолго до того. Оно служило как бы короткой интермедией и сольным номером между более обширными выступлениями. Я думаю, на афише это должно выглядеть примерно так:

ОСТРАЯ БОРЬБА ПАРТИЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕКОЕГО ИЗМАИЛА НА КИТОБОЙНОМ СУДНЕ

КРОВАВАЯ РЕЗНЯ В АФГАНИСТАНЕ

Хоть я и не могу точно сказать, почему режиссер-судьба назначила мне эту жалкую роль на китобойном судне, ведь доставались же другим великолепные роли в возвышенных трагедиях, короткие и легкие роли в чувствительных драмах и веселые роли в фарсах, хоть я и не могу точно сказать, почему так получилось, тем не менее теперь, припоминая все обстоятельства, я начинаю, кажется, немного разбираться в скрытых пружинах и мотивах, которые, будучи представлены мне в замаскированном виде, побудили меня сыграть упомянутую роль да еще льстиво внушили мне, будто я поступил по собственному усмотрению на основе свободы воли и разумных суждений.

Главной среди этих мотивов была всеподавляющая мысль о самом ките, величественном и огромном. Столь зловещее, столь загадочное чудовище не могло не возбуждать моего любопытства. А кроме того, бурные дальние моря, по которым плывет, колыхаясь, его подобная острову туша, смертельная, непостижимая опасность, таящаяся в его облике, в сочетании со всеми неисчислимыми красотами патагонских берегов, их живописными ландшафтами и многозвучными голосами – все это лишь укрепляло меня в моем стремлении. Быть может, другим такие вещи не кажутся столь заманчивыми, но меня вечно томит жажда познать отдаленное. Я люблю плавать по заповедным водам и высаживаться на диких берегах. Не оставаясь глухим к добру, я тонко чувствую зло и могу в то же время вполне ужиться с ним – если только мне дозволено будет, – поскольку надо ведь жить в дружбе со всеми теми, с кем приходится делить кров.

И вот в силу всех этих причин я с радостью готов был предпринять путешествие на китобойном судне; великие шлюзы, ведущие в мир чудес, раскрылись настежь, и в толпе причудливых образов, сманивших меня к моей цели, двойными рядами потянулись в глубине души моей бесконечные процессии китов, и среди них – один величественный крутоверхий призрак, вздымающийся ввысь, словно снеговая вершина.

Глава II

Ковровый саквояж

Я запихнул пару рубашек в свой старый ковровый саквояж, подхватил его под мышку и отправился в путь к мысу Горн, в просторы Тихого океана. Покинув славный старый город Манхэттен, я во благовремении прибыл в Нью-Бедфорд. Дело было в декабре, поздним субботним вечером. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что маленький пакетбот до Нантакета уже ушел и теперь до понедельника туда ни на чем нельзя будет добраться.

Поскольку большинство молодых искателей тягот и невзгод китобойного промысла останавливаются в этом самом Нью-Бедфорде, дабы оттуда отбыть в плавание, мне, разумеется, и в голову не приходило следовать их примеру. Ибо я твердо вознамерился поступить только на нантакетское судно, потому что во всем, что связано с этим славным древним островом, есть какое-то здоровое и неистовое начало, на редкость для меня привлекательное. К тому же, хотя в последнее время Нью-Бедфорд постепенно монополизировал китобойный промысел и хотя бедный старый Нантакет теперь сильно отстает от него в этом деле, тем не менее Нантакет был великим его предшественником, как Тир был предшественником Карфагена, ведь это в Нантакете был впервые в Америке вытасчен на берег убитый кит. Откуда еще, как не из Нантакета, отчалили на своих челноках первые китобои-аборигены, краснокожие индейцы, отправившиеся в погоню за левиафаном? И откуда, как не из Нантакета, отвалил когда-то один отважный маленький шлюп, наполовину нагруженный, как гласит предание, издалека привезенными булыжниками, которые были предназначены для того, чтобы швырять в китов и тем определять, довольно ли приблизился шлюп к цели и можно ли рискнуть гарпуном?

Итак, мне предстояло провести в Нью-Бедфорде ночь, день и еще одну ночь, прежде чем я смогу отплыть к месту моего назначения, и посему возник серьезный вопрос, где я буду есть и спать все это время. Ночь отнюдь не внушала доверия, это была, в общем-то, очень темная и мрачная ночь, морозная и неприятная. Никого в этом городе я не знал. Своими жадными скрюченными пальцами-якорями я уже обшарил дно карманов и поднял на поверхность всего лишь жалкую горстку серебра. «Так что, куда бы ты ни вздумал направиться, Измаил, – сказал я себе, стоя посреди безлюдной улицы с мешком на плече и любуясь тем, как хмурится небо на севере и как мрачнеет оно на юге, – где бы в премудрости своей ты ни решил приклонить главу свою на эту ночь, мой любезный Измаил, не премини осведомиться о цене и не слишком-то привередничай».

Робкими шагами ступая по мостовой, миновал я вывеску «Под скрещенными гарпунами» – увы, сие заведение выглядело чересчур дорого и чересчур весело. Чуть подальше я увидел яркие окна гостиницы «Меч-рыба», откуда красноватый свет падал такими жаркими лучами, что казалось, он растопил весь снег и лед перед домом, а повсюду вокруг смерзшийся десятидюймовый слой льда лежал, словно твердая асфальтовая мостовая, и шагать по этим острым выступам было для меня довольно затруднительно, поскольку в результате тяжелой бесменной службы подошвы мои находились в весьма плачевном состоянии. «И тут чересчур дорого и чересчур весело, – подумал я, задержавшись на мгновение, чтобы полюбоваться яркими отсветами на мостовой и послушать доносящийся изнутри звон стаканов. – Но проходи же, Измаил, слышишь? Убирайся прочь от этой двери: твои залатанные башмаки загородили вход». И я пошел дальше. Теперь я инстинктивно стал сворачивать на те улицы, которые вели к воде, ибо там, без сомнения, расположены самые дешевые, хотя, может быть, и не самые заманчивые гостиницы.

Что за унылые улицы! По обе стороны тянулись кварталы тьмы, в которых лишь кое-где мерцал свет свечи, словно несомой по черным лабиринтам гробницы. Тогда в последний час последнего дня недели этот конец города казался совсем обезлюдевшим. Но вот я заметил

дымную полоску света, падавшего из заманчиво приоткрытой двери какого-то низкого длинного строения. Здание имело весьма запущенный вид, из чего я сразу заключил, что оно предназначено для общественного пользования. Перешагнув порог, я прежде всего упал, споткнувшись о ящик с золой, оставленный в сенях. «Ха-ха, – сказал я себе, едва не задохнувшись в облаке взлетевших частиц праха, – уж не от погибшего ли града Гоморры этот пепел? Там были «Скрещенные гарпуны», потом «Меч-рыба». А сейчас я, наверное, попал в «Ловушку»?» Тем не менее я поднялся с пола и, слыша изнутри громкий голос, толчком отворил вторую дверь.

Что это? Заседание черного парламента в преисподней? Ряды черных лиц, числом не менее ста, обернулись, чтобы поглядеть на меня; а за ними в глубине черный ангел смерти за кафедрой колотил рукой по раскрытой книге. Это была негритянская церковь, и проповедник держал речь о том, как черна тьма, в которой раздаются лишь вопли, стоны и скрежет зубовой. «Да, Измаил, – пробормотал я, пятясь к двери, – неприятное развлечение ждало тебя под вывеской «Ловушки».

И я снова пошел по улицам, пока не различил наконец поблизости от пристани какой-то тусклый свет и не уловил в воздухе тихий унылый скрип. Подняв голову, я увидел над дверью раскачивающуюся вывеску, на которой белой краской было изображено нечто, отдаленно напоминающее высокую отвесную струю туманных брызг, а под ней начертаны следующие слова: «Гостиница «Китовый фонтан», Питер Гроб».

«Гроб? Китовый фонтан? Звучит довольно зловеще при данных обстоятельствах», – подумал я. Впрочем, ведь говорят, в Нантакете это распространенная фамилия, и сей Питер, вероятно, просто переселился сюда с острова. Свет оттуда шел такой тусклый, вокруг в этот час все казалось таким спокойным, да и сам этот ветхий деревянный домишко выглядел так, словно его перевезли сюда из погорелого района, и так по-нищенски убого поскрипывала над ним вывеска, что я понял – именно здесь я смогу найти пристанище себе по карману и наилучший гороховый кофе.

Странное это было сооружение – старый дом под островерхой крышей совсем перекосялся на один бок, словно несчастный паралитик. Он стоял зажатым в какой-то тесный и мрачный угол, а буйный ветер Евроклидон не переставая завывал вокруг еще яростнее, чем некогда вокруг утлого суденышка бедного Павла. А ведь Евроклидон – это отменно приятный зефир для всякого, кто сидит под крышей и спокойно поджаривает у камина ноги, покуда не придет время отправляться ко сну. «При оценке того буйного ветра, что носит наименование Евроклидон, – говорит один древний автор, чьи труды дошли до нас в единственном экземпляре, владельцем которого являюсь я, – огромная разница проистекает из того, рассматриваешь ли ты его сквозь оконные стекла, ограждающие тебя от холода, царящего по ту сторону, или же ты глядишь на него из того окна, в котором нет переплетов, из окна, по обе стороны которого царит холод, из окна, которое лишь некто по имени Смерть может остекленить». «Право же, – подумал я, когда эти строки пришли мне на память, – ты рассуждаешь разумно, мой древний готический фолиант». В самом деле, глаза эти – окна, а тело мое – это дом. Жаль, правда, что не заткнуты как следует все трещины и щели, надо бы понасовать кое-где немного корпии. Но теперь уже поздно вносить усовершенствования. Вселенная уже возведена, ключевой камень свода уложен и щебень вывезен на телегах миллион лет тому назад. Бедный Лазарь, лязгая зубами на панели, что служит ему подушкой, и в дрожи отрясая последние лохмотья со своего озябшего тела, может законопатить себе уши тряпьем, а рот заткнуть обглоданным кукурузным початком, но и так он не сумеет укрыться от Евроклидона.

– Евроклидон! – говорит Богач в красном шлафроке (он завел себе потом другой, еще краснее). – Уф-ф! Уф-ф! Отличная морозная ночь! Как мерцает Орион; как полыхает северное сияние! Пусть себе болтают о нескончаемом восточном лете, вечном, как в моем зимнем саду. Я за то, чтобы самому создавать свое лето у собственного своего очага.

А что думает по этому поводу Лазарь? Сумеет ли он согреть посиневшие руки, воздев их к великому северному сиянию? Быть может, Лазарь предпочел бы очутиться на Суматре, а не здесь? Быть может, он с удовольствием согласился бы улечься вдоль экватора или же даже, о боги, спуститься в самую бездну огненную, только бы укрыться от мороза?

Однако вот Лазарь должен лежать здесь на панели у порога Богача, словно кит на мели, и это еще несуразнее, чем айсберг, причаливший к одному из Молуккских островов. Да и сам Богач, он ведь тоже живет, словно царь в ледяном доме, построенном из замерзших вздохов, и как председатель общества трезвенников он пьет лишь чуть теплые слезы сирот.

Но теперь довольно ныть и стонать, мы уходим на китобойный промысел, и все это в изобилии нам еще предстоит. Давайте отдерем лед с обмерзших подошв и поглядим, что представляет собой гостиница «Китовый фонтан».

Глава III

Гостиница «Китовый фонтан»

Входя под островерхую крышу гостиницы «Китовый фонтан», вы оказываетесь в просторной низкой комнате, обшитой старинными деревянными панелями, напоминающими борта ветхого корабля смертников. С одной стороны на стене висит очень большая картина, вся закопченная и до такой степени стертая, что, разглядывая ее в слабом перекрестном освещении, вы только путем долговременного усердного изучения, систематически к ней возвращаясь и проводя тщательный опрос соседей, смогли бы в конце концов разобраться в том, что на ней изображено. Там нагромождено такое непостижимое скопище теней и сумерек, что поначалу вы готовы вообразить, будто перед вами – труд молодого, подающего надежды художника, задавшегося целью живописать колдовской хаос тех времен, когда Новая Англия славилась ведьмами. Однако в результате долгого и вдумчивого созерцания и продолжительных упорных размышлений, в особенности же в результате того, что вы догадались распахнуть оконце в глубине комнаты, вы в конце концов приходите к заключению, что подобная мысль, как ни дика она, тем не менее не так уж безосновательна.

Но вас сильно озадачивает и смущает нечто вытянутое, гибкое и чудовищное, черной массой повисшее в центре картины над тремя туманными голубыми вертикальными линиями, плывущими в невообразимой пенной пучине. Ну и картина в самом деле, вся какая-то текучая, водянистая, расплывающаяся, нервного человека такая и с ума свести может. В то же время в ней есть нечто возвышенное, хотя и смутное, еле уловимое, загадочное, и оно тянет вас к полотну снова и снова, пока вы наконец не дадите себе невольной клятвы выяснить любой ценой, что означает эта диковинная картина. По временам вас осеняет блестящая, но, увы, обманчивая идея: это штормовая ночь на Черном море; противоестественная борьба четырех стихий; ураган над вересковой пустошью; гиперборейская зима; начало ледохода на реке Времени... Но все эти фантазии в конце концов отступают перед чудовищной массой в центре картины. Понять, что это, – и все остальное будет ясно. Но постойте, не напоминает ли это отдаленно какую-то гигантскую рыбу? Быть может, даже самого левиафана?

И в самом деле, по моей окончательной версии, частично основанной на совокупном мнении многих пожилых людей, с которыми я беседовал по этому поводу, замысел художника сводится к следующему. Картина изображает китобойца, застигнутого свирепым ураганом у мыса Горн; океан безжалостно швыряет полузатопленное судно, и только три его голые мачты еще поднимаются над водой; а сверху огромный разъяренный кит, вознамерившийся перепрыгнуть через корабль, запечатлен в тот страшный миг, когда он обрушивается прямо на мачты, словно на три огромных вертела.

Вся противоположная стена была сплошь увешана чудовищными дикарскими копьями и дубинками. Какие-то блестящие зубы густо унизывали деревянные рукоятки, так что те походили на костяные пилы. Другие были украшены султанами из человеческих волос. А одно из этих смертоносных орудий имело серповидную форму и огромную загнутую рукоятку и напоминало собою ту размашистую дугу, какую описывает в траве длинная коса. При взгляде на него вы вздрагивали и спрашивали себя, что за свирепый дикарь-каннибал собирал когда-то свою смертную жатву этим жутким серпом. Тут же висели старые заржавленные китобойные гарпуны и остроги, все гнутые и поломанные. С иными из них были связаны целые истории. Вот этой острой, некогда такой длинной и прямой, а теперь безнадежно искривленной, пятьдесят лет тому назад Натан Свейн успел убить между восходом и закатом пятнадцать китов. А вон тот гарпун – столь похожий теперь на штопор – был когда-то заброшен в яванских водах, но кит сорвался и ушел и был убит много-много лет спустя у мыса Бланко. Гарпун вонзился

чудовищу в хвост, но за это время, подобно игле, блуждающей в теле человека, проделал путь в сорок футов и был найден в мякоти китового горба.

Пересекая эту сумрачную комнату, вы через низкий сводчатый проход, пробитый, надо полагать, на месте большого центрального камина и потому имеющий по несколько очагов вдоль обеих стен, попадаете в буфетную. Эта комната еще сумрачнее первой; над самой головой у вас выступают такие тяжелые балки, а под ногами лежат такие ветхие корявые доски, что вы готовы вообразить себя в кубрике старого корабля, в особенности если дело происходит бурной ночью, когда этот древний ковчег, стоящий на якоре в своем закоулке, весь сотрясается от ударов ветра. Сбоку у стены там стоял длинный, низкий, похожий на полку стол, уставленный потрескавшимися стеклянными ящиками, в которых хранились запыленные диковины, собранные в самых отдаленных уголках нашего просторного мира. А из дальнего конца комнаты выступала буфетная стойка – темное сооружение, грубо воспроизводившее очертания головы гренландского кита. И как ни странно, но это действительно была огромная аркообразная китовая челюсть, такая широкая, что чуть ли не целая карета могла проехать под ней. Внутри она была увешана старыми полками, кругом уставленными старинными графинами, бутылками, флягами; и в этой всесокрушающей пасти, словно второй Иона (кстати, именно так его там и прозвали), суетился маленький сморщенный старичок, втридорога продававший морякам горячку и погибель за наличные деньги.

Устрашающи были стаканы, куда лил он свой яд. Снаружи они казались правильными цилиндрами, но внутри зеленое дутое стекло прехитрым образом сужалось книзу, да и доньшки оказывались обманчиво толстыми. По стенкам в стекле были грубо выдолблены параллельные меридианы, опоясывавшие эти разбойничьи кубки. Налиют вам до этой мерки – с вас пенни, до другой – еще пенни, и так до самого верха – китобойская доза, которую вы можете получить за один шиллинг.

Войдя в помещение, я увидел у стола группу молодых моряков, разглядывавших в тусклом свете заморские диковины. Я нашел глазами хозяина и, заявив ему о своем намерении снять у него комнату, услышал в ответ, что его гостиница полна – нет ни одной свободной постели.

– Однако постойте, – тут же добавил он, хлопнув себя по лбу, – вы ведь не станете возражать, если я предложу вам разделить ложе с одним гарпунщиком, а? Вы, я вижу, собрались поступать на китобоец, вот вам и надо привыкать к таким вещам.

Я сказал ему, что не люблю спать вдвоем в одной постели, что если уж я когда-нибудь и пошел бы на это, то здесь все зависит от того, что представляет собой гарпунщик; если же у него (хозяина) действительно нет другого места и если гарпунщик будет не слишком неприемлем, то, уж конечно, чем и дальше бродить в такую морозную ночь по улицам чужого города, я готов удовлетвориться половиной одеяла, которым поделится со мной любой честный человек.

– Ну, то-то. Вот и отлично. Да вы присядьте. Ужинать-то, ужинать будете? Ужин сейчас уж поспеет.

Я сел на старую деревянную лавку, вдоль и поперек покрытую резьбой не хуже скамеек в парке Бэттери. На другом конце ее какой-то задумчивый матрос, усердно согнувшись в три погребели и широко раздвинув колени, украшал сиденье при помощи карманного ножа. Он пытался изобразить корабль, идущий на всех парусах, но, по-моему, это ему плохо удавалось.

Наконец нас – человек пять-шесть – пригласили к столу в соседней комнате. Там стоял холод, прямо как в Исландии, камин даже не был затоплен – хозяин сказал, что не может себе этого позволить. Только тускло горели две сальных свечи в двух витых подсвечниках. Пришлось нам застегнуть на все пуговицы свои матросские куртки и греть оледеневшие пальцы о кружки с крутым кипятком. Но накормили нас отменно. Не только картошкой с мясом, но еще и пышками, да, клянусь богом, пышки к ужину! Один юноша в зеленом бушлате набросился на эти пышки самым свирепым образом.

– Эй, парень, – заметил хозяин, – помяни мое слово, сегодня ночью тебя будут мучить кошмары.

– Хозяин, – шепотом спросил я, – это не тот самый гарпунщик?

– Да нет, – ответил он мне с какой-то дьявольской усмешкой, – тот гарпунщик – смуглый молодой человек. И пышек он никогда не станет есть, нет, нет, он ест одни бифштексы. Да и те только с кровью.

– У него губа не дура, – говорю. – Но где же он сам-то? Здесь?

– Вскорости будет здесь, – последовал ответ.

Этот «смуглый» гарпунщик начинал внушать мне некоторые опасения. На всякий случай я принял решение: если нам все-таки придется спать с ним вместе, заставить его раздеться и лечь в постель первым.

Ужин кончился, и общество вернулось в буфетную, где я, не видя иного способа убить время, решил посвятить остаток вечера наблюдениям над окружающими.

Внезапно снаружи донеслись буйные возгласы. Хозяин поднял голову и воскликнул: «Это команда «Косатки»! Я утром читал, что «Косатка» появилась на рейде. Три года были в плавании и вот пришли с полными трюмами. Ура, ребята! Сейчас узнаем, что новенького на Фиджи».

Из прихожей донесся стук матросских сапог, дверь распахнулась, и к нам ввалилась целая стая диких морских волков. Вернее же – свирепых лабрадорских медведей, каковых они напоминали в своих теплых косматых полушубках и накрученных на головы шерстяных шарфах, все в лохмотьях и заплатах, с сосульками в промерзших бородах. Они только что высадились со своего корабля и прежде всего зашли сюда. Неудивительно поэтому, что они прямым курсом устремились к китовой пасти – буфету, где хлопотливый сморщенный старичок Иона тут же наделил каждого полным до краев стаканом вина. Один из прибывших пожаловался на сильную простуду, и по этому поводу Иона приготовил и протянул ему большую дозу дегтеподобного джина, смешанного с патокой, представлявшего собой, по его клятвенному заверению, королевское средство от любых простуд и катаров, и свежих, и застарелых, где бы вы их ни подхватили – у лабрадорского побережья или же с подветренной стороны какого-нибудь айсберга.

Хмель скоро бросился им в голову, как это обычно и случается даже с самыми отъявленными пьяницами, когда они после плавания впервые сходят на берег, и они стали предаваться крайне буйным развлечениям.

Я заметил, однако, что один из них держался немного в стороне от остальных, и хоть видно было, что ему не хочется портить здорового веселья товарищей трезвым выражением лица, в общем-то, он все-таки предпочитал шуметь поменьше, чем другие. Этот человек сразу же возбудил мой интерес; и поскольку морские боги судили ему быть впоследствии моим товарищем по плаванию (хотя всего лишь на немых ролях, по крайней мере, на страницах настоящего повествования), я попытаюсь сейчас набросать его портрет. Он имел полных шесть футов росту, великолепные плечи и грудную клетку – настоящий кессон для подводных работ. Редко случалось мне видеть такую силу в человеке. Лицо у него было темно-коричневым от загара, а белые зубы по контрасту казались просто ослепительными. Но в затененной влажной глубине его глаз таились какие-то воспоминания, видимо, не очень его веселившие. Речь сразу же выдавала в нем южанина, а отличное телосложение позволяло догадываться, что это рослый горец с Аллеганского кряжа. Когда пиршественное ликование его сотрапезников достигло наивысшего предела, человек этот незаметно вышел из комнаты, и больше я его уже не видел, покуда он не стал моим спутником на корабле. Однако через несколько минут товарищи хвятились его. Видно, он по какой-то причине пользовался у них большой любовью, потому что тут же поднялся крик: «Балкингтон! Балкингтон! Где Балкингтон?» – и все они вслед за ним устремились вон из гостиницы.

Было уже около девяти часов. В комнате после этой шумной оргии наступила почти сверхъестественная тишина, и я поздравлял себя с одним небольшим планом, который пришел мне в голову перед самым появлением матросов.

Никто не любит спать вдвоем. Право же, даже с родным братом вы всей душой предпочли бы не спать вместе. Не знаю, в чем тут дело, но только люди, когда спят, склонны проделывать это в уединении. Ну, а уж если речь идет о том, чтоб спать с чужим, незнакомым человеком, в незнакомой гостинице, в незнакомом городе, и незнакомец этот к тому же еще гарпунщик, в таком случае ваши возражения умножаются до бесконечности. Да и не было никаких реальных резонов для того, чтобы я как матрос спал с кем-нибудь в одной кровати, ибо матросы в море не чаще спят вдвоем, чем холостые короли на суше. Спят, конечно, все в одном помещении, но у каждого есть своя койка, каждый укрывается собственным одеялом и спит в своей собственной шкуре.

И чем больше я размышлял о гарпунщике, тем неприятнее становилась для меня перспектива спать с ним вместе. Справедливо было предположить, что раз он гарпунщик, то белье у него вряд ли будет особенно чистым и наверняка – не особенно тонким. Меня просто всего передергивало. Кроме того, было уже довольно поздно, и моему добропорядочному гарпунщику следовало бы вернуться и взять курс на постель. Подумать только, а вдруг он заявится в середине ночи и обрушится прямо на меня – разве я смогу определить, из какой грязной ямы он притаился?

– Хозяин! Я передумал относительно гарпунщика – я с ним спать не буду. Попробую устроиться здесь, на лавке.

– Как пожелаете. Жаль только, я не смогу ссудить вас скатертью взамен матраса, а доски здесь дьявольски корявые – все в сучках и зазубринах. Впрочем, постойте-ка, приятель, у меня тут в буфете есть рубанок. Погодите минутку, я сейчас устрою вас как следует. – Говоря это, хозяин достал рубанок и, смахнув предварительно с лавки пыль своим старым шелковым платком, принялся что было мочи стругать мое ложе, ухмыляясь при этом какой-то насмешливой ухмылкой. Стружки летели во все стороны, покуда лезвие рубанка вдруг не наткнулось на дьявольски крепкий сучок. Хозяин едва не вывихнул себе кисть, и я стал заклинять его во имя Господа, чтобы он остановился: для меня это ложе и так было достаточно мягким, да к тому же я отлично знал, что, как ни стругай, никогда в жизни из сосновой доски не сделаешь пуховой перины. Тогда, снова ухмыльнувшись, он собрал стружки, сунул их в большую печь посреди комнаты и занялся своими делами, оставив меня в мрачном расположении духа.

Я примерился к лавке и обнаружил, что она на целый фут короче, чем мне надо; однако этому можно было помочь посредством стула. Но она оказалась к тому же еще и на целый фут уже, чем необходимо, а вторая лавка в этой комнате была дюйма на четыре выше, чем обструганная, так что составить их вместе не было никакой возможности. Тогда я поставил свою лавку вдоль свободной стены, но не вплотную, а на некотором расстоянии, чтобы в промежутке поместить свою спину. Но скоро я почувствовал, что от подоконника на меня сильно тянет холодом, и понял всю неосуществимость своего плана, тем более что вторая струя холодного воздуха шла от ветхой входной двери, сталкиваясь с первой, и вместе они образовывали целый хоровод маленьких вихрей в непосредственной близости от того места, где я вздумал было провести ночь.

А, дьявол заberi этого гарпунщика, подумал я; однако постой-ка, я ведь могу упредить его – заложить засов изнутри, забраться в его постель, и пусть тогда колотят в дверь как хотят – я все равно не проснусь. Мысль эта показалась мне недурна, но, подумав еще немного, я все-таки от нее отказался. Кто его знает, а вдруг наутро, выйдя из комнаты, я тут же наткнулся на гарпунщика, готового сбить меня с ног ударом кулака?

Я снова огляделся вокруг, по-прежнему не видя иной возможности сносно провести ночь, как только в чужой постели, и подумал, что, быть может, я все-таки напрасно так

предубежден против неведомого мне гарпунщика. Подожду-ка еще немного, думаю, скоро уж он, наверно, заявится. Я рассмотрю его хорошенько, и, может быть, мы с ним отлично вместе выпьемся, кто знает?

Однако время шло, другие постояльцы по одному, по двое и по трое входили в гостиницу и разбредались по своим комнатам, а моего гарпунщика все не было видно.

– Хозяин, – сказал я, – что он за человек? Он всегда так поздно приходит?

Дело было уже близко к двенадцати.

Хозяин снова усмехнулся своей издевательской усмешкой, словно что-то недоступное моему пониманию сильно его развлекало.

– Нет, – ответил он мне, – обычно он возвращается рано. Рано в кровать, рано вставать. Ранняя птичка. Кто рано встает, тому Бог дает. Но сегодня он отправился торговать. Никак не пойму, что это его так задержало, разве только он никак не продаст свою голову.

– Продать свою голову? Что за небылицы ты плетешь? – Ярость моя постепенно возрас- тала. – Уж не хочешь ли ты сказать, хозяин, что в святой субботний вечер или, вернее, в утро святого воскресенья твой гарпунщик занимается тем, что ходит по всему городу и торгует своей головой?

– Именно так, – подтвердил хозяин. – И я предупредил его, что ему не удастся продать ее здесь: рынок забит ими.

– Чем забит? – заорал я.

– Да головами же. Разве в нашем мире не слишком много голов?

– Вот что, хозяин, – сказал я совершенно спокойно, – советую тебе угостить этими россказнями кого-нибудь другого – я не такой уж зеленый простачок.

– Возможно, – согласился он, выстругивая из палочки зубочистку. – Да только думается мне, быть вам не зеленым, а синим, если этот гарпунщик услышит, как вы хулите его голову.

– Да я проломлю его дурацкую голову! – снова возмутился я невразумительной болтовней хозяина.

– Она и так проломана.

– Проломана? То есть как это проломана?

– Ясное дело, проломана. Поэтому-то, я думаю, он и не может ее продать.

– Хозяин, – говорю я и подхожу к нему вплотную, холоден, как Гекла во время снежной бури. – Хозяин, перестаньте затачивать зубочистки. Нам с вами нужно понять друг друга, и притом без промедления. Я прихожу к вам в гостиницу и спрашиваю постель, а вы говорите, что можете предложить мне только половину и что вторая половина принадлежит какому-то гарпунщику. И об этом самом гарпунщике, которого я даже еще не видел, вы упорно рассказываете мне самые загадочные и возмутительные истории, словно нарочно стараетесь возбудить во мне неприязненное чувство по отношению к человеку, с которым мне предстоит спать в одной кровати и с которым поэтому меня будут связывать отношения близкие и в высшей степени конфиденциальные. Поэтому я требую, хозяин, чтобы вы оставили недомолвки и объяснили мне, кто такой этот гарпунщик, и что он собой представляет, и буду ли я в полной безопасности, если соглашусь провести с ним ночь. И прежде всего, хозяин, будьте добры признать, что эта история с продажей головы вымышленная, ибо, в противном случае, я считаю ее очевидным доказательством того, что ваш гарпунщик совершенно не в своем уме, а я вовсе не желаю спать с помешанным; а вас, сэр, да-да, хозяин, именно вас, за сознательную попытку принудить меня к этому я с полным правом смогу привлечь к судебной ответственности.

– Ну и ну, – проговорил хозяин, едва переводя дыхание. – Довольно длинная проповедь, особенно если кто и чертыхается еще понемножку. Да только зря вы волнуетесь. Этот гарпунщик, о котором я вам говорю, только недавно вернулся из рейса по Южным морям, где он накупил целую кучу новозеландских бальзамированных голов (они здесь ценятся как большая редкость), и распродал уже все, кроме одной: сегодня он хотел обязательно продать послед-

нюю, потому что завтра воскресенье, а это уж неподходящее дело – торговать человеческими головами на улицах, по которым люди идут мимо тебя в церковь. В прошлое воскресенье я как раз остановил его, когда он собирался выйти за порог с четырьмя головами, нанизанными на веревочку, ну что твоя связка луковиц, ей-богу.

Это объяснение рассеяло тайну, только что представлявшуюся необъяснимой, и доказало, что хозяин, в общем-то, не имел намерения дурачить меня, но в то же время что мог я подумать о гарпунщике, который всю ночь с субботы на святое воскресенье проводил на улице за таким людоедским делом, как торговля головами мертвых идолопоклонников?

– Можете мне поверить, хозяин, этот гарпунщик – опасный человек.

– Платит аккуратно, – последовал ответ. – Однако ведь уже страсть как поздно, пора и на боковую. Ей-богу, послушайте вы меня, это отличная кровать. Салли и я спали на этой самой кровати с той ночи, когда нас окрутили. Для двоих в этой кровати места за глаза – кувыркайся как хочешь. Отличнейшая просторная кровать. Да что там говорить, пока мы спали на ней, Сал еще укладывала в ногах нашего Сэма и нашего маленького Джонни. Но потом мне однажды приснился какой-то сон, я стал брыкаться и спихнул Сэма на пол, так что он едва не сломал руку. После этого Сал сказала, что так не годится. Да вот пойдете-ка, взгляните сами.

Сказав это, он зажег свечу и протянул ее мне, пропуская меня вперед. Но я стоял в нерешительности, и тут он, взглянув на часы в углу комнаты, воскликнул:

– Ну вот и воскресенье! Сегодня ночью вы уже не увидите своего гарпунщика. Видно, он стал на якорь где-то в другом месте. Да пошли же, пошли! Идете вы или нет?

Я поразмыслил еще минуту, а затем мы зашагали вверх по лестнице, и я очутился в небольшой, холодной, как устричная раковина, комнатке, посреди которой действительно стояла чудовищная кровать – настолько большая, что в ней спокойно уместились бы четыре спящих гарпунщика.

– Ну вот, – сказал хозяин и поставил свечу на старый матросский сундук, служивший здесь одновременно и подставкой для умывального таза, и столом, – теперь устраивайтесь поудобнее. Спокойной вам ночи.

Я оторвал взгляд от кровати, оглянулся, но он уже исчез.

Тогда я отвернул одеяло и наклонился над постелью. Далекая от какой бы то ни было изысканности, она тем не менее оказалась при ближайшем рассмотрении вполне сносной. Тогда я стал оглядывать комнату, но, помимо кровати и сундука-стола, не обнаружил здесь никакой другой мебели, кроме грубо сколоченной полки, четырех стен и каминного экрана, обклеенного бумагой с изображением человека, поражающего кита. Из предметов, не входящих непосредственно в обстановку этой комнаты, здесь была скатанная и перевязанная койка, брошенная на пол в углу, а вместо сухопутного чемодана большой матросский мешок, содержащий, без сомнения, гардероб гарпунщика. Сверх того, на полке над камином лежала связка костяных рыболовных крючков диковинного вида, а у изголовья кровати стоял длинный гарпун.

Но что за предмет лежит на сундуке? Я взял его в руки, поднес к свету, щупал, нюхал и всяческими способами пытался прийти относительно него к какому-нибудь вразумительному заключению. Я могу сравнить его только с большим половиком, украшенным по краям позвякивающими висюльками наподобие игл пятнистого дикобраза на отворотах индейских мокасин. В центре этого половика была дыра, вернее, узкий разрез, вроде того, что мы видим в плащах-пончо. Но возможно ли, чтобы здравомыслящий гарпунщик нацепил на себя половик и в подобном одеянии расхаживал по улицам христианского города? Я примерил его из любопытства, и он, словно тук с провизией, так и пригнул меня книзу – толстый, косматый и, как показалось мне, слегка влажный, как будто загадочный гарпунщик носил его под дождем. Не снимая его, я подошел к осколку зеркала, приставленного к стене, – никогда в жизни не видел я подобного зрелища. Я с такой поспешностью выдирался из него, что едва не удавил себя.

Потом я уселся на край кровати и стал размышлять о торгующем головами гарпунщике и его половике. Поразмыслив некоторое время на краю кровати, я встал, снял бушлат и стал размышлять посреди комнаты. Потом снял куртку и малость поразмыслил в одной рубашке. Но почувствовав, что полураздетый я начинаю замерзать, и вспомнив, как хозяин уверял меня, что гарпунщик сегодня вовсе не вернется домой, потому что час уже слишком поздний, я без дальнейших колебаний разулся и скинул панталоны, а затем, задув свечу, повалился на кровать и поручил себя заботам Провидения.

Чем там был набит матрас – обглоданными кукурузными початками или битой посудой, – сказать трудно, но я долго ворочался в постели и все никак не мог заснуть. Наконец я забылся легкой дремотой и готов был уже отплыть с попутным ветром в сонное царство, как вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги и в щели под дверью замерцал слабый свет.

Господи, помилосердствуй, думаю, ведь это, должно быть, гарпунщик, проклятый торговец головами. А сам лежу совершенно неподвижно, преисполнившись решением не произнести ни слова, покуда ко мне не обратятся. Держа в одной руке свечу, а в другой – ту самую новозеландскую голову, незнакомец вошел в комнату и, даже не взглянув на кровать, поставил свечу прямо на пол в дальнем углу, а сам принялся возиться с веревками, перевязывавшими большой мешок, о котором я уже упоминал. Я горел желанием рассмотреть его лицо, но, занятый развязыванием мешка, он некоторое время стоял, отвернувшись от меня. Однако, справившись наконец с веревками, он обернулся и – о небо! Что я увидел! Какая рожа! Цвета темно-багрового с прожельтью, это лицо было усеяно большими черными квадратами. Ну вот, так я и знал: эдакое пугало мне в сотоварищи! Он, видно, подрался с кем-то, ему изрезали все лицо, и хирург наклеил пластырей. Но в этот самый момент он как раз обратил лицо к свету, и я отчетливо увидел, что это у него вовсе не пластыри, эти черные квадраты на щеках. Это были какие-то пятна на коже. Вначале я не знал, что и подумать, но скоро стал подозревать истину. Мне припомнился рассказ о белом человеке – тоже китобое, – который попал к каннибалам и был подвергнут ими татуировке. И я решил, что и этот гарпунщик во время своих дальних плаваний пережил подобное приключение. Ну и что с того, в конце концов подумал я. Ведь это всего лишь его внешний облик, можно под всякой кожей быть честным человеком. Однако как же объяснить нечеловеческий цвет его лица, вернее, цвет тех участков кожи, которые лежат по краям черных квадратов и не затронуты татуировкой? Возможно, правда, что это – лишь сильный тропический загар, но, право же, я никогда не слышал, чтобы в лучах жаркого солнца белый человек загорал до багово-желтого цвета. Впрочем, ведь я никогда не бывал в Южных морях; быть может, южное солнце там оказывает на кожу подобное невероятное воздействие. Между тем как все эти мысли, словно молнии, проносились у меня в голове, гарпунщик по-прежнему не замечал меня. Повозившись с мешком, он открыл его, порылся там и вскоре извлек нечто вроде томагавка и какую-то сумку из тюленьей шкуры мехом наружу. Положив все это на старый сундук в центре комнаты, он взял новозеландскую голову – вещь достаточно отвратительную – и запихал ее в мешок. Затем он снял шапку – новую бобровую шапку, – и тут я чуть было не взвыл от изумления. На голове у него не было волос, во всяком случае, ничего такого, о чем бы стоило говорить, только небольшой черный узелок, скрученный над самым лбом. Эта лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп. Если бы незнакомец не стоял между мною и дверью, я бы пулей вылетел из комнаты – быстрее, чем расправлялся когда-либо с самым вкусным обедом.

Но и при такой дислокации я начал быстро подумывать о том, чтобы выбраться незаметно через окно, да только комната наша была на третьем этаже. Я не трус, но этот торгующий головами багровый разбойник был вне границ моего разумения. Неведение – мать страха, и, признаюсь, я, совершенно ошарашенный и сбитый с толку этим зрелищем, до такой степени боялся теперь незнакомца, словно это сам дьявол ворвался глубокой ночью ко мне в комнату. По совести говоря, я настолько был перепуган, что не имел духу окликнуть его и потребовать

удовлетворительного объяснения относительно всего того, что представлялось мне в нем загадочным.

Между тем он продолжал раздеваться и наконец обнажил грудь и руки. Умереть мне на этом самом месте, ежели я лгу, но только упомянутые части его тела, обычно скрытые одеждой, были разграфлены в такую же клетку, как и лицо; и спина тоже была вся покрыта черными квадратами, точно он только что вернулся с Тридцатилетней войны – израненный и весь облепленный пластырем. Мало того, даже ноги его были разукрашены, будто целый выводок темно-зеленых лягушек карабкался по стволам молодых пальм. Теперь было совершенно ясно, что это – какой-то свирепый дикарь, в Южных морях погрузившийся на борт китобойца и таким образом попавший в христианскую землю. Меня просто трясло от ужаса. И к тому же еще он торгует головами – быть может, головами своих братьев. А что, если ему приглянется моя голова... Господи, какой жуткий томагавк!

Но мне уже некогда было трястись, ибо дикарь теперь стал проделывать нечто, полностью поглотившее мое внимание и окончательно убедившее меня в том, что передо мной действительно язычник. Приблизившись к своему тяжелому пончо, или плащу, или покрывалу – уж не знаю, как это назвать, – который он перед тем повесил на спинку стула, он стал рыться в его карманах и вытащил наконец какого-то удивительного горбатого уродца в точности такого же цвета, как трехдневный конголезский младенец. Вспомнив набальзамированную голову, я уже готов был впрямь поверить, что это черное создание – настоящий младенец, законсервированный подобным же образом, но, отметив про себя, что предмет этот тверд, как камень, и блестит, как хороший кусок полированного черного дерева, я заключил, что это, должно быть, всего лишь деревянный идол, что тут же и подтвердилось. Ибо я вдруг вижу, что дикарь подходит к пустому камину, отодвигает экран и ставит своего горбатого божка, словно кеглю, под сводами очага. Боковые стенки камина и все его кирпичные внутренности были покрыты густым слоем сажи, и мне подумалось, что этот камин – вполне подходящий алтарь, вернее, капище для африканского идола.

Я, как мог, скосил глаза в направлении полузапрятанного божка и, хоть мне было сильно не по себе, стал следить за тем, что же будет дальше. Смотрю, он выгребает из кармана плаща две горсти стружек, насыпает их осторожно перед идолом; потом кладет сверху кусок морского сухаря и свечой поджигает стружку – вспыхнуло жертвенное пламя. Тут он стал быстрыми движениями совать пальцы в огонь и еще быстрее отдергивать их (причем он их, кажется, сильно обжег) и в результате вытащил наконец сухарь из пламени; потом он раздул немного жар, разворошил золу и почтительно предложил обугленный сухарь своему чернокожему младенцу. Но маленькому дьяволу, видимо, не по вкусу было это подгорелое угощение, потому что он даже губами не шевельнул. И все эти странные манипуляции сопровождались еще более странными гортанными звуками, издаваемыми моим набожным идолопоклонником, который, как я понимаю, молился нараспев или же распевал свои языческие псалмы, корча при этом противоестественные гримасы. Наконец он потушил огонь, самым бесцеремонным образом вытащил из камина своего идола и небрежно засунул его обратно в карман плаща, словно охотник, отправляющий в ягдташ подстреленного вальдшнепа.

Вся эта загадочная процедура лишь увеличила мое смущение, и, видя определенные признаки того, что близится завершение описанных деловых операций и что сейчас он полезет ко мне в кровать, я понял, что наступил момент, сейчас или никогда, покуда еще не погашен свет, разрушить чары, так долго мною владевшие.

Но несколько секунд, ушедших на размышление о том, как же все-таки приступить к делу, оказались роковыми. Схватив со стола томагавк, он какое-то время разглядывал его с обуха, а затем сунул на мгновение в пламя свечи, взяв в рот рукоятку, и выпустил целое облако табачного дыма. В следующий миг свеча была погашена, и этот дикий каннибал со своим тома-

гавком в зубах прыгнул ко мне в кровать. Это уж было выше моих сил – я взвыл от ужаса, а он издал негромкий возглас изумления и принялся ощупывать меня.

Заикаясь, я пробормотал что-то, сам не ведая что, откатился от него вплотную к стене и оттуда стал заклинать его, кто бы он ни был такой, чтобы он не двигался и позволил мне встать и снова зажечь свечу. Но его гортанные ответы тут же дали мне понять, что он весьма неудовлетворительно улавливал смысл моих слов.

– Какая черт твоя? – произнес он наконец. – Твоя говорить, а то я убивать, черт не знай.

И при этих словах огненный томагавк стал в темноте описывать кривые у меня над головой.

– Хозяин! Бога ради, Питер Гроб! – вопил я. – Хозяин! Караул! Гроб! Ангелы! Спасите!

– Твоя говорить! Твоя сказать, кто такая, а то я убивать, черт не знай, – зарычал людоед, устрашающе размахивая томагавком, из которого сыпались на меня огненные искры, так что белье на мне едва не загорелось. Но в этот самый миг, благодарение Господу, в комнату вошел хозяин со свечой в руке, и я, выскочив из кровати, бросился к нему.

– Ну-ну, можете не бояться, – сказал он, по-прежнему ухмыляясь, – наш Квикег вас не обидит.

– Да перестанете ли вы ухмыляться? – заорал я. – Вы почему не сказали мне, что этот гарпунщик – чертов каннибал?

– А я думал, вы сами догадаетесь, я ведь говорил вам, что он торгует в городе головами. Да вы напрасно волнуетесь, не бойтесь и ложитесь спокойно спать. Эй, Квикег, послушай, твоя моя понимай, этот человек с тобой будет спать, твоя понимай?

– Моя много-много понимай, – проворчал Квикег, сидя на кровати и часто попыхивая трубкой. – Твоя сюда полезай, – добавил он, махнув в мою сторону томагавком и откинув край одеяла. И, право же, он проделал это не просто любезно, а я бы сказал даже – очень ласково и по-настоящему гостеприимно. Минуту я стоял и глядел на него. Несмотря на всю татуировку, это был, в общем, чистый, симпатичный каннибал. И с чего это я так расшумелся, сказал я себе, он такой же человек, как и я, и у него есть столько же оснований бояться меня, как у меня – бояться его. Лучше спать с трезвым каннибалом, чем с пьяным христианином.

– Хозяин, – заявил я, – велите ему запрятать подальше свой томагавк или трубку, уж не знаю, как это у вас называется. Короче говоря, скажите ему, чтобы он перестал курить, и тогда я лягу с ним вместе. Я не люблю, когда в одной кровати со мной кто-нибудь курит. Это опасно. К тому же я не застрахован.

Просьба моя была пересказана Квикегу, он сразу же ее удовлетворил и снова вежливо знаком пригласил меня в кровать, отодвинувшись к самому краю, словно хотел сказать – я и ноги твоей не коснусь.

– Спокойной ночи, хозяин, – сказал я. – Можете идти.

Я забрался в кровать и уснул так крепко, как еще не спал никогда в жизни.

Глава IV

Лоскутное одеяло

Назавтра, когда я проснулся на рассвете, оказалось, что меня весьма нежно и ласково обнимает рука Квикега. Можно было подумать, что я – его жена. Одеяло наше было сшито из лоскутков – из множества разноцветных квадратиков и треугольничков всевозможных размеров, и его рука, вся покрытая нескончаемым критским лабиринтом узоров, каждый участок которых имел свой, отличный от соседних оттенков, чему причиной послужило, я полагаю, его обыкновение во время рейса часто и неравномерно подставлять руку солнечным лучам, то засучив рукав до плеча, то опустив немного, – так вот, та самая рука теперь казалась просто частью нашего лоскутного одеяла. Она лежала на одеяле, и, право же, узоры и тона все так перемешались, что, проснувшись, только по весу и давлению я мог определить, что это Квикег меня обнимает.

Странные ощущения испытал я. Сейчас попробую описать их. Помню, когда я был ребенком, со мной однажды произошло нечто подобное – что это было, грёза или реальность, я так никогда и не смог выяснить. А произошло со мною вот что.

Я напраказничал как-то – кажется, попробовал пролезть на крышу по каминной трубе, в подражание маленькому трубочисту, виденному мною за несколько дней до этого, а моя мачеха, которая по всякому поводу постоянно порола меня и отправляла спать без ужина, мачеха вытащила меня из дымохода за ноги и отослала спать, хотя было только два часа пополудни 21 июня – самого длинного дня в нашем полушарии. Это было ужасно. Но ничего нельзя было поделать, и я поднялся по лестнице на третий этаж в свою каморку, разделся по возможности медленнее, чтобы убить время, и с горьким вздохом забрался под одеяло.

Я лежал, в унынии высчитывая, что еще целых шестнадцать часов должны пройти, прежде чем я смогу восстать из мертвых. Шестнадцать часов в постели. При одной этой мысли у меня начинала ныть спина. А как светло еще; солнце сияет за окном, грохот экипажей доносится с улицы, и по всему дому звенят веселые голоса. Я чувствовал, что с каждой минутой положение мое становится все невыносимее, и наконец я слез с кровати, оделся, неслышно в чулках спустившись по лестнице, разыскал внизу свою мачеху и, бросившись внезапно к ее ногам, стал умолять ее в виде особой милости избить меня как следует туфлей за дурное поведение, готовый претерпеть любую кару, лишь бы мне не надо было так непереносимо долго лежать в постели. Но она была лучшей и разумнейшей из мачех, и пришлось мне тащиться обратно в свою каморку. Несколько часов пролежал я там без сна, чувствуя себя значительно хуже, чем когда-либо впоследствии, даже во времена величайших своих несчастий. Потом я, вероятно, все-таки забылся мучительной, кошмарной дремотой; и вот, медленно пробуждаясь, – еще наполовину погруженный в сон, – я открыл глаза в своей комнате, прежде залитой солнцем, а теперь окутанной проникшей снаружи тьмой. И вдруг все мое существо пронизала дрожь, я ничего не видел и не слышал, но я почувствовал в своей руке, свисающей поверх одеяла, чью-то бесплотную руку. И некий чудный, непостижимый облик, тихий призрак, которому принадлежала рука, сидел, мерещилось мне, у самой моей постели. Бесконечно долго, казалось, целые столетия лежал я так, застыв в ужаснейшем страхе, не смея отвести руку, а между тем я все время чувствовал, что стоит мне только чуть шевельнуть ею, и жуткие чары будут разрушены. Наконец это ощущение незаметным образом покинуло меня, но, проснувшись утром, я снова с трепетом вспомнил его, и еще много дней, недель и месяцев после этого терялся я в мучительных попытках разгадать тайну. Ей-богу, я и по сей день нередко ломаю над ней голову.

Так вот, если отбросить ужас, мои ощущения в момент, когда я почувствовал ту бесплотную руку в своей руке, совершенно совпадали по своей необычности с ощущениями, которые

я испытал, проснувшись и обнаружив, что меня обнимает языческая рука Квикега. Но постепенно в трезвой осязаемой реальности утра мне припомнились одно за другим все события минувшей ночи, и тут я понял, в каком комическом и затруднительном положении я нахожусь. Ибо, как ни старался я сдвинуть его руку и разорвать его супружеские объятия, он, не просыпаясь, по-прежнему крепко обнимал меня, словно ничто, кроме самой смерти, не могло разлучить нас с ним. Я попытался разбудить его: «Квикег!» – но он только захрапел мне в ответ. Тогда я повернулся на бок, чувствуя словно хомут на шее, и вдруг меня что-то слегка царапнуло. Откинув одеяло, я увидел, что под боком у дикаря спит его томагавк, точно черненький остролицый младенец. Вот так дела, подумал я, лежи тут в чужом доме среди бела дня в постели с каннибалом и томагавком! «Квикег! Ради всего святого, Квикег! Проснись!» Наконец, не переставая извиваться, я непрерывными громогласными протестами по поводу всей неуместности супружеских объятий, в которые он заключил своего соседа по постели, исторг из него какое-то нечленораздельное мычание; и вот он уже снял с меня руку, весь встряхнулся, как ньюфаундлендский пес после купания, уселся в кровати, словно аршин проглотил, и, потерев глаза, уставился на меня с таким видом, точно не вполне понимал, как я тут очутился, хотя какое-то смутное сознание того, что он уже меня видел, медленно начинало теплиться у него во взгляде. А я тем временем лежал и спокойно разглядывал его, не испытывая более относительно него никаких опасений и намереваясь поэтому как можно лучше рассмотреть столь удивительное создание. Когда же наконец он, видимо, пришел к определенному выводу о том, что представляет собой его сосед по постели, и как будто бы смирился с существующим положением вещей, он прыгнул на пол и дал мне жестами и возгласами понять, что готов, если мне так больше нравится, одеваться первым и оставить меня затем в одиночестве, уступив комнату полностью в мое распоряжение. Ну, Квикег, думаю я, при данных обстоятельствах это в высшей степени культурное начало. Да ведь, по правде говоря, как тут ни верти, а дикарям вообще свойственна некоторая врожденная деликатность; удивления достойно, насколько вежливы они по своей природе. Я с такой похвалой отзываюсь о Квикеге просто потому, что он проявил немало учтивости и предупредительности, в то время как я повинен был в грубой бестактности: лежа в постели, я разглядывал его, внимательно следя за всеми стадиями его туалета – на сей раз любопытство взяло верх над моей благовоспитанностью. Ведь такого человека, как Квикег, не каждый день увидишь – и сам он, и его повадки заслуживают самого внимательного рассмотрения.

К одеванию он приступил сверху, водрузив на макушку свою бобровую шапку – надо сказать, весьма высокую, – а затем, все еще без брюк, стал шарить по полу в поисках башмаков. Для чего это делалось, я, клянусь Богом, не знаю, но в следующий момент он – в бобровой шапке и с башмаками в руке – очутился под кроватью, где, насколько я мог судить по его прерывистому дыханию и надсадному кряхтению, он стал старательно натягивать башмаки на ноги, хотя никакими законами благопристойности не предусмотрено, чтобы человек должен был обуваться в уединении. Но, понимаете ли, Квикег был существом в промежуточной стадии – ни гусеница, ни бабочка. Он был цивилизован ровно настолько, чтобы всевозможными невероятными способами выставлять напоказ свою дикость. Образование его еще не было завершено. Он еще только учился. Не будь он уже в малой степени цивилизован, он бы, по всей вероятности, вовсе не стал затруднять себя башмаками; с другой стороны, если б он не оставался все еще дикарем, ему бы никогда не пришло в голову надевать башмаки под кроватью. Наконец он вылез из-под кровати в шапке, которая вся промялась и сдвинулась на самые глаза, и стал со скрипом, хромя, ходить по комнате – видно, он не очень-то привык к обуви, а эта пара башмаков из воловьей кожи, сырых и сморщенных и сшитых, надо думать, не на заказ, в то немилосердно холодное утро поначалу мучительно жала ему ноги.

Ну а так как занавесей у нас на окне не было и из дома напротив через узенькую улочку отлично видно было все происходящее в нашей комнате, а Квикег, расхаживающий в одной

только шапке и башмаках, представлял собою в высшей степени нелепое зрелище, я стал уговаривать его по возможности понятнее, чтоб он хоть немного ускорил свой туалет, главное же, чтоб он поспешил надеть наконец брюки. Он внял моей просьбе, а затем приступил к умыванию. В тот утренний час всякий христианин на его месте стал бы мыть лицо. Квикег же – поразительно – ограничился лишь тем, что подверг омовению грудь, плечи и руки. Потом он надел жилет, взял с сундука, служившего столом и подставкой для умывальника, кусок твердого мыла, окунул его в воду и стал намыливать щеки. Я с интересом ждал, чтоб он извлек откуда-нибудь свою бритву, но тут он вдруг вытаскивает из угла за кроватью гарпун, отделяет длинную деревянную рукоятку, снимает чехол с лезвия, несколько раз проводит им по своей подошве и, остановившись перед обломком зеркала у стены, начинает энергично брить, вернее, гарпунировать себе щеки. Да, думаю, Квикег, здорово же ты распоряжаешься первосортными лезвиями фирмы Роджера. Впоследствии я уже не так дивился описанной операции, потому что узнал, из какой высококачественной стали изготавливаются гарпуны и как необыкновенно остро затачиваются их длинные прямые лезвия.

Туалет Квикега был вскорости завершен, и он величественно вышел из комнаты, облаченный в длинный лощманский бушлат, неся в руке, словно маршальский жезл, свой неизменный гарпун.

Глава V

Завтрак

Я сразу же последовал за ним и, спустившись в буфетную, вполне дружелюбно приветствовал ухмыляющегося хозяина. Я не питал к нему недобрых чувств, хотя он немало позабавился на мой счет в связи с происшествиями минувшей ночи.

Но ведь до чего ж хорошо бывает иной раз посмеяться как следует. Превосходная это вещь – смех от души, превосходная и довольно-таки редкая, и это, между прочим, жаль. И потому, если какой-нибудь человек своей собственной персонойставляет людям материал для хорошей шутки, пусть он не скарелничает и не стесняется, пусть он весело отдаст себя на службу этому делу. Уверю вас, что тот, в ком заложена щедрая доля смешного, гораздо значительнее, чем вы, вероятно, предполагаете.

В буфетной к этому времени собралось уже полно постояльцев, которые прибыли минувшей ночью и которых я вчера не видел. То были почти сплошь одни китобои: первые, вторые и третьи помощники капитана, корабельные купоры и корабельные кузнецы, гарпунщики и гребцы – смуглые, мускулистые люди с дремучими бородами, заросшая, косматая команда, с утра облаченная в матросские бушлаты вместо шлафроков.

Можно было с легкостью определить, как давно каждый из них покинул палубу своего корабля. Вот у этого здоровяка-юноши щеки напоминают цветом напоенные солнцем груши, от них и запах-то, кажется, исходит такой же сладкий; он не далее как три дня назад вернулся сюда из Индии. А тот, что сидит с ним рядом, не такой смуглый – это уже оттенок красного дерева. У третьего лицо еще сохранило тропический загар, но только теперь порядком выцветший – этот человек, без сомнения, уже не одну неделю провел на берегу. Но кто мог бы похвастаться такими щеками, как Квикег, чья рожа, исполосованная разноцветными линиями, казалось, подобно западному склону Анд, украшена была в одном замысловатом узоры всеми климатическими зонами?

– Эге-гей! Еда готова! – возгласил наконец хозяин, распахнув дверь, и мы проследовали в соседнюю комнату к завтраку.

Говорят, что люди, повидавшие свет, отличаются непринужденностью манер и не теряются в любом обществе. Но это отнюдь не всегда так: Ледьярд, великий путешественник из Новой Англии, и шотландец Мунго Парк – оба они в гостиных всегда совершенно тушевались. Быть может, путешествия по бескрайней Сибири в санях, запряженных собаками, вроде того, какое совершил Ледьярд, или продолжительные прогулки натошак и в одиночестве к сердцу Черной Африки, к чему, собственно, сводились все достижения бедного Мунго, быть может, говорю я, подобные подвиги не являются лучшим способом приобретения светского лоска. Но все-таки лоск – это, в общем, не редкость.

Настоящие рассуждения вызваны следующим обстоятельством: когда все мы уселись за стол и я приготовился услышать боевые рассказы о китобойном промысле, оказалось, к моему изумлению, что все присутствующие хранят глубокое молчание. И мало того, у них даже вид был какой-то смущенный. Да, да! Вокруг меня сидели эти морские волки, из которых многие в открытом море без малейшего смущения брали на abordаж огромных китов – совершенно чужих и незнакомых – и, глазом не моргнув, вели с ними смертный бой до победного конца; а между тем здесь они сидели за общим завтраком – все люди одной профессии и сходных вкусов – и оглядывались друг на друга с такой робостью, словно никогда не покидали пределов овчарни на Зеленых горах. Удивительное зрелище – эти застенчивые медведи, эти робкие воины-китобои!

Но возвращаясь к моему Квикегу – а Квикег сидел среди них, и, по воле случая, даже во главе стола, невозмутим и холоден, как сосулька. Разумеется, его манеры оставляли желать

лучшего. Даже самый горячий из его почитателей не мог бы, не покривив душой, оправдать присутствие гарпуна, который он принес с собой к столу, где и орудовал им без всяких церемоний, протягивая его через весь стол, к вящей опасности для соседских голов, чтобы загарпунить и притянуть к себе бифштексы. Но все это он, надо отдать ему должное, проделывал крайне невозмутимо, а ведь всякий знает, что в глазах большинства невозмутимость равноценна всем светским приличиям.

Мы не будем здесь перечислять других странностей Квикега, не будем говорить о том, как он тщательно избегал горячих булочек и кофе, как посвятил полностью свое внимание непрожаренным бифштексам. Достаточно будет сказать, что, когда завтрак был окончен, он вместе со всеми перешел в буфетную, разжег трубку-томагавк и так сидел в своей неизменной шапке, предаваясь пищеварению и спокойно покуривая, в то время как я вышел прогуляться.

Глава VI

Улица

Если я испытал удивление, впервые увидев такую диковинную личность, как Квикег, возвращающуюся в культурном обществе цивилизованного города, удивление это тут же улетучилось, когда я предпринял свою первую – при дневном свете – прогулку по улицам Нью-Бедфорда.

Во всяком мало-мальски крупном портовом городе на тех улицах, что расположены поблизости от пристаней, можно часто встретить самых неопикуемых индивидуумов со всех концов света. Даже на Бродвее и Чеснет-стрит случается иной раз, что средиземноморские моряки толкают перепуганных американских леди. Риджент-стрит посещают порой индийские и малайские матросы, а в Бомбее на Аполло-Грин туземцев, бывало, часто пугали живые янки. Но Нью-Бедфорд побивает всех – и Уотер-стрит, и Уоппинг. Последние в изобилии посещаются только обыкновенными моряками; а в Нью-Бедфорде настоящие каннибалы стоят и болтают на перекрестках; самые подлиннее дикари, и у некоторых из них кости еще покрыты некрещеной плотью. Как же на них не глазеть?

Но, помимо жителей островов Фиджи, Тонгатобу, Эроманго, Пананджи и Брайтджи⁶ и помимо диких представителей китобойного ремесла, которые кружатся по здешним улицам, не привлекая внимания прохожих, мы можем увидеть в Нью-Бедфорде зрелище еще более любопытное и, уж конечно, более комичное. Ежедневно сюда прибывают стаи новичков из Вермонта и Нью-Гемпшира, жаждущих приобщиться к чести и славе китобойного промысла. Это все больше молодые, дюжие парни, недавние лесорубы, вознамерившиеся променять топор на китобойный гарпун. Юнцы зеленые, как те Зеленые горы, откуда они приехали. Иной раз кажется, что им не более нескольких часов от роду. Вон, к примеру, тот парень, который с важным видом вышел из-за угла. На нем бобровая шапка, и фалды у него наподобие ласточкина хвоста, однако подпоясался он матросским ремнем да еще прицепил кинжал в ножнах. А вот идет еще один, в зюйдвестке, но в бомбазиновом плаще.

Никогда городскому франту не сравниться с деревенским, со стопроцентным денди-мужланом, который на сенокос надевает перчатки из оленьей кожи, дабы уберечь от загара руки. И вот, если такой деревенский франт заберет себе в голову, что ему необходимо отличиться и сделать карьеру, и решит поступить на китобойное судно, – посмотрели бы вы, что он выделывает, очутившись наконец в порту! Заказывая себе матросское облачение, он обязательно посадит на жилет модные пуговицы колокольчиками и прикажет снабдить штрипками свои парусиновые брюки. Увы, бедный деревенщина! Как прежалостно полопаются эти штрипки при первом же порыве свежего ветра, когда тебя, вместе со всеми твоими пуговицами и штрипками, захватит свирепый шторм!

Однако не подумайте, что сей славный город может похвастаться перед приезжим только гарпунщиками, каннибалами и деревенскими простофилями. Это вовсе не так. Ведь Нью-Бедфорд и впрямь место удивительное. Когда бы не мы, китобои, этот участок земли и по сей день оставался бы, наверное, в таком же плачевном состоянии, как берега Лабрадора. Да и теперь за городом, чуть вглубь от побережья, встречаются места до того голые, костлявые, что просто страх берет. Но сам город прекрасен, пожалуй, во всей Новой Англии не сыщешь города лучше. Настоящая земля елей, право же, но только, в отличие от Ханаана, к тому же еще – земля хлеба и вина. Улицы не текут молоком, и по весне их не мостят свежими яйцами. Однако, несмотря на это, нигде во всей Америке не найдешь домов царственнее, парков и садов роскошнее, чем

⁶ Фиджи, Тонгатобу, Эроманго, Пананджи, Брайтджи – острова в Тихом океане к востоку от Австралии.

в Нью-Бедфорде. Откуда они? Каким образом разрослись здесь, на этой некогда скудной, усыпанной вулканическим шлаком земле?

Ступайте и разглядите хорошенько железную решетку, в которой каждый прут загнут наподобие гарпуна, разглядите решетку вокруг вон того высокого особняка, и вы найдете ответ на свой вопрос. Да, все эти нарядные здания и пышные сады прибыли сюда из Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Все это в свое время загарпунили китобои и выволокли сюда со дна морского. Способен ли был сам герр Александер на подобный подвиг?

Говорят, отцы в Нью-Бедфорде дают за своими дочерьми в приданое китов, а племянниц наделяют дельфинами. Поезжайте в Нью-Бедфорд, если хотите поглядеть настоящую блистательную свадьбу, ибо у них там, говорят, в каждом доме есть целые резервуары китового жира и каждую ночь щедро сжигаются спермацетовые свечи высотой в человеческий рост.

Летом город особенно приятен для взгляда, весь утопающий в кленах, – длинные зеленые и золотые аллеи. А в августе высоко в небе прекрасные пышные каштаны, словно канделябры, протягивают над прохожим удлинённые, как свечи, конусы своих соцветий. Столь всемогуще искусство, которое по всему Нью-Бедфорду разбило яркие террасы цветников на голых обломках скал, сваленных здесь в последний день творения.

А женщины Нью-Бедфорда! Они цветут, подобно розам, что посажены их же нежными ручками. Но розы цветут лишь летом, тогда как нежные гвоздики у них на щеках рдеют круглый год, точно солнце на седьмом небе. Цветения, равного этому, не сыщешь на всей земле, разве только в Сейлеме, где, как я слышал, дыхание молодых девушек так полно мускуса, что моряки за много миль от берега по запаху угадывают близость своих возлюбленных, словно идут к ароматным Молуккам, а не к пуританским прибрежным пескам.

Глава VII

Часовня

В том же самом Нью-Бедфорде стоит Часовня Китобоев, и мало найдется суровых рыбаков, готовящихся к отплытию в Индийский или Тихий океан, кто пренебрег бы случаем зайти сюда в воскресенье. Я, по крайней мере, зашел. Вернувшись с первой утренней прогулки, я вскоре опять вышел на улицу – только ради того, чтобы сходить в часовню. Небо из ясного, солнечного и холодного превратилось в сплошной туман и летящий снег с дождем. Завернувшись поплотнее в свою ворсистую куртку, сшитую из ткани, которая носит название «медвежья шкура», я пробился сквозь свирепую бурю. Когда я вошел в часовню, там было немного народу – всего несколько моряков да несколько матросских жен и вдов.

Стояла глухая тишина, прерываемая по временам лишь возгласами бури. Казалось, каждый безмолвный молящийся намеренно уселся в стороне от остальных, как будто каждое безмолвное горе было непередаваемо и замкнуто в себе. Священника еще не было. Только сидели, словно немые островки, эти мужчины и женщины, не отводя глаз от мраморных плит с черной окантовкой, вделанных в стену по обе стороны от кафедр. Три из них имели приблизительно такие надписи (на точность цитат не претендую):

ПАМЯТИ ДЖОНА ТОЛБОТА,

ПОГИБШЕГО В ВОЗРАСТЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

ЗА БОРТОМ КОРАБЛЯ ВБЛИЗИ ОСТРОВА ЗАПУСТЕНЫЯ

У БЕРЕГОВ ПАТАГОНИИ

НОЯБРЯ МЕСЯЦА ПЕРВОГО ДНЯ 1836 ГОДА.

ЭТУ ПЛИТУ ВОЗДВИГЛА В ПАМЯТЬ О НЕМ ЕГО СЕСТРА

ПАМЯТИ

РОБЕРТА ЛОНГА, ВИЛЛИСА ЭЛЕРИ,

НАТАНА КОЛМЕНА, УОЛТЕРА КЭННИ,

СЕТА МЭЙСИ И СЭМУЭЛА ГЛЭГА,

СОСТАВЛЯВШИХ КОМАНДУ ОДНОГО

ИЗ ВЕЛЬБОТОВ С КОРАБЛЯ «ЭЛИЗА»

И УВЛЕЧЕННЫХ КИТОМ В ОТКРЫТОЕ МОРЕ

ВБЛИЗИ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

31 ДЕКАБРЯ 1839 ГОДА.

СЕЙ МРАМОР УСТАНОВИЛИ ЗДЕСЬ

ИХ ОСТАВШИЕСЯ В ЖИВЫХ ТОВАРИЩИ

ПАМЯТИ ПОКОЙНОГО КАПИТАНА ЕЗЕКИИЛА ХАРДИ,

УБИТОГО НА НОСУ СВОЕГО ВЕЛЬБОТА КАШАЛОТОМ

У БЕРЕГОВ ЯПОНИИ 3 АВГУСТА 1833 ГОДА.

ЭТУ ДОСКУ УСТАНОВИЛА

В ПАМЯТЬ О НЕМ ЕГО ВДОВА

Отряхнувши мокрые льдинки со шляпы и с куртки, я уселся недалеко от двери и стал оглядываться по сторонам, как вдруг, к изумлению своему, заметил поблизости Квикега. В этой торжественной обстановке он внимательно глядел вокруг с выражением недоверчивого любопытства во взгляде. Дикарь оказался единственным, кто обратил внимание на мое появление, поскольку он был здесь единственным, кто не умел читать и, следовательно, не был занят чтением упомянутых бесстрастных надписей по стенам.

Были ли среди собравшихся в часовне родственники тех моряков, чьи имена значились на плитах, этого я не знаю, но несчастные случаи на море столь многочисленны и столь многие среди присутствующих женщин несли на лицах, если не в одежде, печать неизбывного горя, что с уверенностью могу сказать: здесь собрались те, в чьих незаживающих сердцах при взгляде на эти холодные плиты начинают вновь кровоточить старые раны.

Вы, чьи усопшие погребены под зеленым травянистым покровом, кто может, стоя среди цветов, сказать: здесь, здесь лежит тот, кого я любила, – вам неведомо страдание, гнетущее эти сердца. Сколько горестных пробелов между траурными гранями мрамора, под которым не покоится прах! Какое отчаяние в этих холодных надписях! Какая мертвящая пустота, какое неожиданное безбожие в этих строках, подтачивающих всякую веру и словно лишаящих надежды на воскресение тех, кто погиб на неведомых широтах и не получил погребения. Этим плитам подобало бы стоять в пещерах Элефанты, а не здесь.

В какую перепись живущих включены наши мертвецы? Почему повсеместно гласит пословица, будто могилы немые, хоть и хранят они не меньше тайн, чем Гудвинские пески? Как объяснить, что перед именем того, кто вчера отправился в мир иной, помещаем мы слово, столь значительное и столь кощунственное, однако не награждаем подобным же титулом того, кто отплывает к берегам отдаленнейших Индий на нашей земле? Почему страховые компании выплачивают крупные суммы в случае кончины бессмертных? В каком вечном, неподвижном параличе, в каком мертвом, безнадежном трансе лежит сейчас древний Адам, скончавшийся круглых шестьдесят столетий тому назад? Как объяснить, что мы столь безутешно оплакиваем тех, кому, согласно нашим же утверждениям, уготовано вечное несказанное блаженство? Почему все живущие так стремятся принудить к молчанию все то, что умерло? Отчего даже смутного слуха о каких-то стуках в гробнице довольно, чтобы привести в ужас целый город?

Все эти вопросы не лишены глубокого смысла.

Но вера, подобно шакалу, кормится среди могил, и даже из этих мертвых сомнений извлекает она животворную надежду.

Едва ли надо говорить, с каким чувством разглядывал я накануне своего отплытия в Нантакет эти мраморные плиты и читал в пасмурном свете унылого гаснущего дня о судьбах китобоев, до меня отправившихся этой дорогой. Да, Измаил, быть может, и тебя ожидает та же участь. Однако постепенно я вновь развеселился. Ведь это же просто заманчивое приглашение пуститься в плавание и отличный случай добиться успеха; ей-богу, разбитый вельбот пожалует мне бессмертие без повышения оклада. Это верно, в китобойном ремесле смерть – дело обычное: краткий хаотический миг, так что и ахнуть не успеешь, а уже тебя спровадили в Вечность. Но что же из этого? Думается мне, мы порядком понапутали в этом вопросе Жизни и Смерти. Мне думается, то, что именуют моею тенью здесь на земле, и есть на самом деле моя истинная сущность. Мне думается, что, рассматривая явления духовные, мы уподобляемся устрицам, наблюдающим солнце сквозь толщу воды и полагающим, будто эта мутная вода есть наипрозрачайший воздух. Мне думается, что тело мое – лишь некий осадок моего лучшего бытия. Да право же, пусть кто хочет забирает мое тело, пусть забирает, говорю, оно – не я. И потому: трижды «ура» Нантакету, а также проломленному днищу вельбота и проломленному черепу, ибо душу мою даже самому Юпитеру не сломить.

Глава VIII

Кафедра проповедника

Так просидел я совсем недолго, когда в часовню вошел какой-то человек чинного вида и крепкого телосложения, и по тому, как все тотчас же устремили к нему почтительные взоры, едва захлопнулась под натиском метели впустившая его дверь, я мог с уверенностью заключить, что этот славный пожилой человек и есть сам священник. Действительно, это был отец Мэппл, как звали его китобои, среди которых он пользовался большой известностью. Когда-то в юности он был моряком, гарпунщиком, однако вот уже много лет как он посвятил себя служению Богу. В те дни, о которых я пишу, отец Мэппл переживал бодрую зиму своей здоровой старости, той здоровой старости, которая словно переходит исподволь в цветущую юность, ибо в бороздах его морщин виднелись мягкие проблески нового расцвета – так весенняя зелень проглядывает даже из-под февральского снега.

У всякого, кому известна была его история, отец Мэппл не мог не вызвать величайшего интереса, потому что в его священническом облике проявлялись необычайные черты, находившие объяснение в той суровой корабельной жизни, которую он некогда вел. Еще когда он входил, я заметил, что он без зонта и, уж конечно, прибыл не в экипаже, ибо мокрый снег, тая, ручьями стекал с его парусиновой шляпы, а тяжелый брезентовый плащ, наподобие лоцманского, казалось, так и давил к земле весом всей впитанной им воды. Тем не менее шляпа, плащ и калоши были в должном порядке сняты и развешаны в уголке у двери, после чего он в приличествующем облачении спокойно приблизился к кафедре.

Как большинство старомодных кафедр, она была очень высокой, а поскольку обычные ступеньки при такой высоте должны были бы немало протянуться и в длину, значительно сокращая и без того небольшую площадь часовни, архитектор, вероятно, по совету отца Мэппла, установил кафедру без ступенек, снабдив ее вместо этого сбоку подвесной лестницей наподобие тех, какими пользуются, чтобы подниматься с лодки на борт корабля. Жена одного капитана-китобоя пожертвовала в часовню два отличных каната из красной шерсти, служивших теперь поручнями этой лестницы, которая, украшенная сверху резьбой и моренная под красное дерево, казалась, принимая во внимание общий стиль часовни, вполне уместным и отнюдь не безвкусным приспособлением. Отец Мэппл задержался на мгновение у подножия лестницы и, крепко ухватившись обеими руками за шерстяные шары на концах поручней, взглянул вверх, а затем с чисто моряцкой, но в то же время чинной сноровкой взобрался по лестнице, перебирая руками, словно подымался на грот-мачту своего корабля.

Продольные части этой лестницы представляли собой, как у настоящего трапа, простую веревку, обшитую клеенкой, деревянными были только ступеньки. И я еще с первого взгляда отметил, что такое устройство может быть очень удобно на корабле, но в данном случае кажется излишним. Ибо я никак не ожидал, что, поднявшись на кафедру, отец Мэппл спокойно обернется и, перегнувшись через борт, будет неторопливо выбирать лестницу ступенька за ступенькой, пока вся она не окажется наверху, превратив кафедру в маленький неприступный Квекбек.

Слегка озадаченный, я некоторое время тщетно раздумывал над смыслом того, что увидел. Отец Мэппл пользовался славой человека большой простоты и святости, так что я не мог заподозрить его в попытке завоевать подобными трюками дешевую популярность. Нет, думал я, здесь должен быть какой-то особый смысл, более того, какая-то скрытая символика. В таком случае не хочет ли он показать этим актом физической изоляции, что он на некоторое время духовно уединился, порвав все внешние мирские связи и узлы? В самом деле, ведь для истинно религиозного человека эта кафедра, несущая неистощимые запасы словесного вина и мяса, –

несокрушимая твердыня, возвышенный Эренрейтштейн, в стенах которого не иссякнет вечный источник.

Подвесная лестница была здесь не единственной странностью, позаимствованной из прежней матросской жизни пастора. Между мраморными надгробиями, расположенными по обе стороны позади кафедры, на стене была большая картина – одинокий корабль, доблестно сражающийся с бурей, которая гонит его прямо на черные береговые скалы, опоясанные белоснежными бурунами. А в вышине, над летящими облаками, над черными клубами туч, виднеется островок солнечного света и на нем – лицо ангела, устремившего вниз свой взор. Светлое это лицо отбрасывает на корабль, который носится по волнам далеко внизу, маленькое лучезарное пятнышко вроде серебряной дощечки, вделанной теперь в палубу «Виктории» на том месте, где пал Нельсон. «О славное судно! – как бы говорит этот ангел. – Смелое, славное судно, держись! Пусть твердо стоит твой отважный штурвал. Ведь вдали уже проглядывает солнце, тучи расходятся – проступает безмятежная лазурь».

Сама кафедра тоже несла на себе следы морского вкуса, породившего подвесную лестницу и эту картину. Обшитая спереди панелью, она имела форму крутого корабельного носа, и Библия покоилась на выступе, украшенном завитками, напоминавшими старинную резьбу на носу корабля.

Что может быть многозначительнее этого? Ведь кафедра проповедника искони была у земли впереди, а все остальное следует за нею: кафедра ведет за собой мир. Отсюда различают люди первые признаки Божьего скорого гнева, и на нос корабля приходится первый натиск бури. Отсюда возносятся к Богу бризов и бурь первые моления о попутном ветре. Воистину, мир – это корабль, взявший курс в неведомые воды открытого океана, а кафедра проповедника – нос корабля.

Глава IX

Проповедь

Отец Мэппл поднялся и скромным, мягким голосом отдал повеление своей разбредшейся по часовне пастве собраться и сесть потеснее: «Эй, от левого борта! Податься вправо! От правого борта – влево! В середину, в середину!»

Глухо загрохотали в проходах между скамьями тяжелые матросские сапоги, зашаркали едва слышно башмаки женщин, и вновь воцарилась тишина, и все глаза устремились на проповедника.

Мгновение он стоял неподвижно, затем опустился на колени в носовой части своей кафедры, сложил на груди большие смуглые ладони и, устремив вверх взор своих закрытых глаз, начал молиться с таким глубоким благоговением, точно возносил молитву со дна морского. По окончании молитвы голосом протяжным и торжественным, словно погребальный звон колокола с палубы тонущего в тумане корабля, – вот таким голосом начал он читать гимн, постепенно меняя интонации к заключительным строфам, и окончил чтение звучным благовестом восторга и ликования:

Китовых ребер арка надо мной.
И тяжкий черный страх согнул мне плечи.
Снаружи солнце колыхалось на волнах —
Я шел на дно, погибли навстречу.

Разверстую я видел ада пасть.
Там бедствия теснились толпою.
Неизреченным мукам несть числа —
Отчаянье овладевало мною.

И в страшный час я к Господу воззвал
(Достоин ли я был еще молиться?),
Но он склонил свой слух к моей мольбе,
И сгинул кит, души моей темница.

По морю поспешил ко мне Господь,
Как бы несомый солнечным дельфином,
Был светел и ужасен Божий лик,
Подобный молнии на небе синем.

Вовеки не устану воспевать
Тот миг, и страх и радость мне несущий.
И тем прославлен будет мой Господь,
Бог милосердный, Бог всемогущий.

Ему подпевали почти все присутствующие, и гимн ширился, устремляясь в вышину и покрывая завывание бури. Потом ненадолго установилась тишина; проповедник медленно переворачивал страницы Библии и наконец, опустив сложенные ладони на открытую книгу, произнес:

– Возлюбленные братья-матросы! Возьмем последний стих первой главы книги пророка Ионы – «И создал Бог большого кита и повелел ему поглотить Иону». Матросы! Эта книга,

содержащая всего четыре главы – четыре рассказа, – лишь тончайшая нить, вплетенная в могучий канат Писания. Но каких глубин души достигает глубинный Ионин лот! Как поучителен для нас пример этого пророка! Как прекрасен гимн во чреве рыбы! Сколь подобен он валам морским и неистово величав! Мы чувствуем, как хляби вздымаются над нами, вместе с ним погружаемся мы на вязкое дно моря, а вокруг, со всех сторон, – морская трава и зеленый ил! Но каков же тот урок, что преподносит нам книга Ионы? Друзья мои, это сдвоенный урок: урок всем нам, грешным людям, и урок мне, кормчему Бога живого. Всем нам, грешным людям, это урок потому, что здесь рассказывается о грехе, о закосневшей душе, о внезапно пробудившемся страхе, скором наказании, о раскаянии, молитве и, наконец, о спасении и радости Ионы. Так же, как и у всех грешников среди людей, грех сына Амафии был в своенравном неподчинении воле Господней – неважно сейчас, в чем эта воля заключалась и как сообщена была ему, – ибо он нашел, что выполнить ее трудно. Но помните: все, чего ожидает от нас Господь, трудно исполнить, и потому он чаще повелевает нами, нежели пытается нас убедить. И если мы повинемся Богу, мы должны всякий раз послушаться самих себя; вот в этом-то неповиновении самим себе и состоит вся трудность повиновения Богу.

Но взяв на себя сей грех неповиновения, Иона и дальше надругался над Господом, ибо пытался бежать от Него. Он думает, что корабль, построенный людьми, перенесет его в такие страны, где владычествует не Бог, а Капитаны земли. Он шныряет у пристаней Иоппии и высматривает судно, направляющееся в Фарсис. В этом заключен, надо думать, особый, доселе непонятный смысл. По всем расчетам, Фарсис не может быть ничем иным, как теперешним Кадисом. Таково мнение людей ученых. А где находится Кадис, друзья мои? В Испании, так далеко от Иоппии, как только мог Иона добраться по морю в те старинные времена, когда воды Атлантики были почти неведомы людям. Потому что Иоппия, собратья мои матросы, это современная Яффа, она находится на самом восточном берегу Средиземного моря, в Сирии. А Фарсис, или Кадис, расположен на две тысячи с лишком миль к западу, у выхода из Гибралтарского пролива. Вы видите, матросы, что Иона пытался бежать от Господа на край света. Несчастный! О жалкий и достойный всяческого презрения человек! С виноватым взором в очах скрывается он в шляпе с опущенными полями от своего Бога; рыщет у причалов, подобный подлому грабителю, торопится пересечь море. У него такой беспокойный, такой саморазоблачающий вид, что, существуя в те времена полиция, Иона за одну лишь подозрительную внешность был бы арестован, не успев ступить на палубу корабля. Ведь очевидно, что он беглый преступник: при нем ни багажа – ни одной шляпной картонки, ни дорожной корзинки или саквояжа, – ни друзей, чтобы проводить его до пристани и пожелать счастливого плавания. Но вот наконец после долгих опасных поисков он находит корабль, направляющийся в Фарсис. Идет, приближаясь к концу, погрузка; и когда он всходит на палубу, чтобы переговорить в каюте с капитаном, все матросы прерывают на мгновение работу и говорят между собой, что у этого человека дурной глаз. Иона слышит их; но напрасно пытается он придать себе вид спокойный и самоуверенный, напрасно пробует улыбнуться своей жалкой улыбкой. Моряки бессознательно чувствуют его вину. Обычным своим шутивым и в то же время серьезным тоном они шепчут друг другу: «Говорю тебе, Джек, он ограбил вдовицу», или «Видал, Джо? Это двоеженец», или «Сдается мне, Гарри, дружище, что он прелюбодей, сбежавший из тюрьмы в старой Гоморре, или, может, беглый убийца из Содомы». Один из матросов подбегает к причалу, возле которого ошвартовано судно, и читает наклеенное на свае объявление, в котором предлагаются пятьсот золотых монет за поимку отцеубийцы, а ниже имеется описание внешности преступника. Он читает и поглядывает то на Иону, то на бумагу, а его товарищи сгрудились вокруг Ионы и понимающе молчат, готовые сразу же схватить его. Устрашившись, дрожит Иона, призывая на помощь всю свою храбрость, чтобы скрыть страх, и только выглядит от этого еще большим трусом. Он не признается себе, что его в чем-то подозревают, но это само по себе довольно подозрительно. Вот он и стоит там, куда матросы не убеждаются,

что он – не тот человек, о котором говорится в бумаге, и расступаются, пропуская его вниз к капитанской каюте.

«Кто там? – кричит капитан, не поднимая головы над своим столом, за которым он в спешке выправляет бумаги для таможи. – Кто там?» О, как жестоко этот безобидный вопрос ранит душу Ионы! Он уже, кажется, готов повернуться и снова бежать прочь. Но потом овладевает собою. «Мне нужно добраться на этом судне до Фарсиса. Скоро ли вы отплываете, сэр?» До сих пор капитан, занятый своими бумагами, сидел, не поднимая головы, и не видел Ионы, хотя тот и стоит прямо перед ним. Но при звуках этого глухого голоса он сразу же устремляет на Иону пристальный взгляд. «Мы отплываем с приливом», – медленно отвечает он наконец, все еще внимательно глядя на своего посетителя. «Не скорее, сэр?» – «И так достаточно скоро для всякого честного пассажира». Ага, Иона, еще один удар! Но Иона быстро переводит разговор в другое русло. «Я иду с вами, – говорит он. – Вот деньги. Сколько это будет стоить? Я заплачу сейчас». Ибо здесь недаром нарочито говорится, собратья мои матросы, что он «отдал плату за проезд» еще до того, как корабль отчалил. И в общей ткани рассказа эта подробность полна особого смысла.

Капитан этот, друзья мои, был из таких людей, чья проницательность различает всякое преступление, но чья алчность разоблачает лишь преступления неимущих. В этом мире, братья, Грех, который может заплатить за проезд, свободно путешествует и не нуждается в паспорте, тогда как Добродетель, если она нища, будет задержана у первой же заставы. Капитан решает измерить глубину Иониного кармана, прежде чем высказать о нем свое мнение. Он запрашивает с него тройную цену, и Иона соглашается. Теперь капитан убедился, что Иона – беглый преступник, но он все же решает помочь беглецу, златом мостящему себе дорогу. Однако, когда Иона без колебаний вытаскивает свой кошелек, благоразумные подозрения охватывают капитана. Каждую монету он бросает об стол, чтоб проверить, не фальшивая ли она. Ну, во всяком случае, это не фальшивомонетчик, говорит он себе и вносит Иону в список пассажиров. «Укажите мне мою каюту, сэр, – обращается тогда к нему Иона. – Я устал, добираясь сюда, и нуждаюсь в отдыхе». – «По тебе и видно, – замечает капитан. – Вот твоя каюта». Иона входит в каюту и поворачивается, чтобы запереть дверь, но в замке нет ключа. А капитан, слыша, как он там без толку возится с дверью, смеется тихонько и бормочет себе под нос что-то относительно тюремных камер, которые не разрешается запираť изнутри. Иона, прямо как был, в одежде и покрытый пылью, валится на койку и видит, что потолок в этой маленькой каюте чуть ли не касается его лба. Воздух здесь спертый, Ионе трудно дышать. Уже теперь, в этой тесной норе, расположенной ниже ватерлинии, испытывает Иона вещее предчувствие того удушливого часа, когда кит заключит его в самой тесной темнице своего чрева.

Слегка покачивается привинченная к переборке висячая лампа; под тяжестью последних туюков судно накренилось в сторону причала, и лампа вместе с язычком пламени висит теперь немного косо по отношению к самой каюте; хотя в действительности безукоризненно прямая, она лишь делала очевидной всю обманчивость и лживость тех уровней, среди которых она покачивалась. Лампа тревожит, пугает Иону; лежа у себя на койке, он усталыми глазами обводит каюту, и не на чем отдохнуть беспокойному взору этого доселе удачливого беглеца. А двусмыслие лампы внушает ему все больший страх. Все перекошено – пол, потолок, переборки. «Вот так же и совесть моя висит во мне, – стонет он, – прямо вверх устремлено ее жгучее пламя, но искривлены все приделы моей души».

Как человек, который после пьяного ночного пиршества торопится к своему ложу, хоть голова у него еще кружится, а уже укоры совести начинают запускать в душу стальные крючья вроде тех шипов на упряжи римского скакуна, что тем глубже впиваются ему в грудь, чем сильнее рвется он вперед; подобно этому человеку, который в мучительной дурноте мечется у себя на постели, моля Бога, чтобы Он даровал ему небытие, покуда длится это жалкое состояние, и наконец среди водоворота мук чувствует, как его охватывает глубокое оцепенение, подобное

тому, в какое погружается умирающий от потери крови, ибо больная совесть – это та же рана, и ничем нельзя унять кровотечения; вот так и Иона, проведя на своей койке долгие мучительные беспокойные часы, наконец под тяжестью чудодейственного страдания погружается в зеленые глубины сна.

Но вот наступило время прилива; отданы швартовы, и от безлюдной пристани, сильно кренясь, отваливает судно и уходит в море, взяв курс на Фарсис. Это был первый в истории контрабандистский корабль, друзья мои. И контрабандой был Иона. Но море восстает, оно не желает нести несправедный груз. Разразился ужасный шторм, он грозит разнести корабль в щепы. Но теперь, когда боцман зовет всех наверх, когда с гулом летят за борт ящики, тюки и кувшины, под вой ветра и людские вопли, под дробный топот ног, от которого ходуном ходит дощатая палуба прямо у него над головой, – среди всего этого неистового рева Иона спит своим страшным сном. Он не видит черного неба и бушующего моря, не чувствует, как раскачиваются шпангоуты, и не чует, не ведает, что уж теперь издалека, рассекая волны, мчится за ним вдогонку, разинув пасть, огромный кит. Ибо Иона, братья мои матросы, спустился во внутренность корабля, улегся на койку в своей каюте и спит теперь крепким сном. Но перепуганный шкипер приходит к нему и кричит ему прямо в сонное ухо: «Ты что спишь, безумный? Вставай!» Пробудившись от этого отчаянного вопля, Иона опускается на ноги, спотыкаясь и теряя равновесие, выбирается на палубу и, уцепившись за канат, глядит на море. Но в этот самый миг огромная волна, подобно пантере, бросается на него из-за борта. Вал за валом обрушивается на корабль, и вода, не находя стока, с ревом мчится на корму и на нос, и вот уже моряки тонут, хоть корабль еще держится на воде. И всякий раз, как бледная луна показывает свой испуганный лик в глубоких промоинах среди бурного мрака на небе, объятый ужасом видит Иона, как вздымается бушприт корабля, чтобы тут же снова нырнуть вниз, навстречу беснующемуся водному лону.

С воплями теснятся страхи в его душе. Как ни жметса, как ни прячется он, бегущий Господа, он теперь отмечен для всех взоров. Матросы замечают его, утверждают в подозрениях, и, наконец, только затем, чтоб удостовериться в истине, прибегнув к суду Небес, решают они бросить жребий и узнать, кого ради постигла их великая буря. И пал жребий на Иону. Убедившись в этом, с какой яростью забрасывают они его вопросами: «Чем занимаешься ты? Откуда идешь? Где твоя страна? И из какого ты народа?» Но вы заметьте, матросы, как себя держит теперь Иона. Возбужденные моряки спрашивают его всего лишь, кто он и откуда, но получают они не только ответ на свои вопросы, но также и другой ответ на вопрос, не заданный ими, неожиданный ответ, исторгнутый из Иониной груди твердой десницею Бога.

– Я еврей! – кричит он, а потом добавляет: – Я чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу.

Ты чтить Его, Иона? Надлежит тебе ныне трепетать перед Ним. И Иона тут же, не сходя с места, признается во всем, и, выслушав его рассказ, люди испытывают великий страх, но все же они жалеют его. И когда Иона, не решаясь еще молить Господа о милосердии, ибо ему слишком хорошо известна вся глубина собственных прегрешений, когда несчастный Иона кричит им, чтоб они взяли его и бросили в море – ведь он знал, что это его ради постигла их великая буря, – они в жалости отворачиваются от него и пытаются спасти корабль иными способами. Но усилия тщетны, все оглушительней вой негодующего шторма; и тогда, воздев призывно одну руку к небесам, другую они, сами не желая того, все же наложили на Иону.

Глядите! Вот Иону поднимают, словно якорь, и бросают в море; и тотчас же спокойствие маслом растекается по волнам с востока, и утихает море от ярости своей, и буря вместе с Ионой остается далеко за кормой, и гладкие волны окружают корабль. Иона идет ко дну среди такого дикого, беспорядочного водоворота и бурлящего смятения, что он и не замечает даже, как попадает в поджидающую его разинутую пасть; кит захлопывает челюсти, лязгнув белыми зубами, словно бесчисленными засовами на дверях темницы. И тогда Иона помолился Господу

Богу своему из чрева кита. Но обратите внимание на его молитву и усвойте важный урок. Как ни грешен Иона, он не вопит и не молит об освобождении. Он чувствует, что ужасное наказание справедливо. Освобождение свое он полностью предоставляет на волю Божию, довольствуясь сам лишь тем, что наперекор всем тяготам и мукам устремляет свой взор ко святому храму Его. А это, собратья мои матросы, и есть истинное и подлинное раскаяние, не требующее прощения, но благодарное за наказание. И сколь приятно это было Богу в Ионе – показывает его последующее освобождение и спасение от моря и от кита. Братья, я не ставлю в пример Иону, чтоб вы подражали ему в его грехе, но я ставлю его в пример как образец раскаяния. Не грешите, но, совершив грех, непременно покайтесь в нем, подобно Ионе.

Так говорил проповедник, а доносившиеся снаружи пронзительные завывания яростной метели, казалось, придавали еще больше силы его словам, и когда он описывал шторм на море, то чудилось, будто и самого его охватил бушующий шторм. Его широкая грудь вздымалась, словно от мертвой зыби, раскинутые руки казались двумя борющимися стихиями; раскаты грома вырывались из-под темного чела, а взгляд метал молнии – и все это заставляло простосердечных слушателей взирать на него с непривычным им чувством страха и почитания. Но теперь наступило затишье; снова он молча принялся листать страницы священной книги; а затем, закрыв глаза, мгновение стоял неподвижно, в общении с Богом и самим собой.

Потом он снова наклонился вперед к своей пастве и, все ниже и ниже опуская голову, с видом глубочайшего и мужественнейшего смирения произнес такие слова:

– Собратья мои матросы! Одну лишь длань наложил на вас Бог, обеими дланями давит Он на меня. При тусклом свете, отпущенном мне, я прочел вам урок, которому учит Иона всех грешников и, стало быть, вас, а еще больше – меня, ибо я – большой грешник, чем вы. С какой радостью спустился бы я сейчас с этой мачты и уселся бы на палубе, где вы сидите, и стал бы слушать, как слушаете вы, чтобы кто-нибудь из вас читал *мне* этот второй, еще более страшный урок, которому Иона учит *меня*, кормчего Бога живого. Как, будучи помазанным кормчим-пророком, прорицателем истины, Иона, получив приказание от Господа возвестить неприятные истины погрязшей во зле Ниневии, но устранившись возбудить вражду жителей этого города, бежал от возложенного на него Богом и пытался укрыться от долга своего и от Господа, взойдя на корабль в Иопнии. Но Бог – повсюду; и до Фарсиса Иона так и не добрался. Вы помните, во образе кита Бог настиг его и поглотил, ввергнув в кипящую бездну погибели, и, быстро погружаясь, повлек с собой «в сердце моря», где бурлящие водовороты утянули его в тысячемильную глубину, «и морскую траву была обвита его голова», и весь текущий мир скорбей катился над ним. Но и оттуда, из бездны, недоступной лоту, «из чрева преисподней», когда уже кит погрузился на самое дно океана, – и оттуда услышал Бог голос раскаявшегося в пучине пророка. И тогда Господь сказал киту, и из содрогающегося хладного морского мрака кит устремился навстречу теплему, ласковому солнцу, навстречу всем чудесам воздуха и земли и «изверг Иону на сушу»; тогда слово Господне прозвучало опять, и Иона, израненный и избитый, но все еще слыша в ушах своих, словно в двух морских раковинах, многоголосый рокот океана, – Иона исполнил повеление Всемоущего. Каково же было это повеление, братья? Возвещать Истину перед лицом Лжи!

Вот, друзья мои, вот в чем состоит второй урок, и горе тому кормчему Бога живого, который пренебрежет им. Горе тому, кого отвлекает этот мир от божественного долга! Горе тому, кто льет масло на волны, когда Бог повелел быть буре! Горе тому, кто стремится льстить, а не устрашать! Горе тому, кому доброе имя дороже добродетели! Горе тому, кто бежит бесчестия в этом мире! Горе тому, кто отступится от истины, даже если во лжи – спасение! Да, горе тому, кто, как говорил великий кормчий Павел, проповедуя другим, сам остается недостойным!

Он поник и на мгновение как бы забылся; потом, снова подняв к ним лицо, озаренное теперь глубокой радостью, воскликнул в божественном вдохновении:

– О братья мои матросы! Справа по борту рядом со всяким горем движется неизменная благодать, и вершина этой благодати уходит дальше ввысь, чем уходит вниз глубина горя. Подобно тому, как высота грот-мачты превосходит глубину кильсона. Благодать, устремленная высоко вверх и глубоко внутрь, благодать тому, кто против гордых богов и владык этой земли, непреклонный, ставит всегда самого себя. Благодать тому, чьи сильные руки еще поддерживают его, когда корабль этого предательского, подлого мира идет ко дну у него под ногами. Благодать тому, кто не поступится крупницей правды, но будет разить, жечь, сокрушать грех, даже сокрытый под мантиями сенаторов и судий. Благодать, высокая, как брамсель, благодать тому, кто не признает ни закона, ни господина, кроме Господа своего Бога, у кого одно отечество – небеса. Благодать тому, кого все волны неистового океана толпы не могут смыть с этого надежного Корабля Столетий. Вечная благодать и радость – удел того, кто сможет сказать, испуская последнее дыхание: «Отец мой (знакомый мне более всего своими ударами), смертный или бессмертный, вот я умираю. Я стремился принадлежать Тебе скорее, нежели этому миру или себе самому. Но сие все – неважно. Я оставляю Тебе вечность, ибо что есть человек, чтобы пережить ему своего Бога?»

Больше он ничего не сказал, но медленным жестом благословил сидевших, закрыл ладонями лицо и так стоял коленопреклоненный, покуда все не разошлись, оставив его в одиночестве.

Глава X

Закадычный друг

Вернувшись из часовни в гостиницу «Китовый фонтан», я застал там одного только Кви-кега, который покинул часовню незадолго до благословения. Он сидел на табурете у камина, поставив ноги на решетку, и одной рукой держал у самых глаз своего маленького черного идола, уставившись пристально ему в лицо и легонько проводя лезвием ножа по его носу, и при этом напевал про себя что-то на свой языческий манер.

Увидев меня, он отложил своего бога и тут же, подойдя к столу, снял оттуда большую книгу, которую поместил у себя на коленях и принялся сосредоточенно считать в ней листы; каждый раз, насчитав полсотни, он, как я заметил, на мгновение останавливался, озирался растерянно и недоуменно, издавал протяжный переливчатый присвист, а потом принимался за следующие полсотни, опять, видимо, начиная счет сначала, как будто бы больше, чем до пятидесяти, он считать не умел и все изумление его перед множеством листов в книге вызвано было лишь тем, что их здесь так много раз по пятьдесят.

Я наблюдал за ним с большим интересом. Хотя он и был дикарем и хоть лицо его, по крайней мере, на мой вкус, так жутко уродовала татуировка, все-таки в его внешности было что-то приятное. Душу не спрячешь. Мне казалось, что под этими ужасными шрамами я могу различить признаки простого честного сердца, а в его больших глубоких глазах, огненно-черных и смелых, проглядывал дух, который не дрогнет и перед тысячью дьяволов.

Но помимо всего остального, в жестах этого язычника было нечто величавое, что даже его неуклюжесть не могла исказить. У него был вид человека, который никогда не раболепствовал и никогда не одожджлся. И потому ли, что голова его была обрита, так что рельефнее становился и казался особенно вместительным его высокий лоб, этого я не берусь решить, но, несомненно, с точки зрения френолога, у него был великолепный череп. Может показаться смешным, но мне его голова напомнила голову генерала Вашингтона с известного бюста. У Кви-кега был тот же удлинённый, правильный, постепенно отступающий склон над бровями, которые точно так же выдавались вперед, словно два длинных густо заросших лесистых мыса. Кви-кег представлял собой каннибальский вариант Джорджа Вашингтона.

Покуда я так пристально разглядывал его, одновременно притворяясь, будто смотрю в окно, за которым бушевала метель, он не обращал на меня ни малейшего внимания, не потру-дился ни разу даже взглянуть в мою сторону – так поглощен он был пересчитыванием листов в своей удивительной книге. Помня, как по-дружески провели мы с ним минувшую ночь, в особенности же как любовно обнимала меня его рука, когда я проснулся утром, я нашел это равнодушие весьма странным. Но дикари – странные существа, подчас и не знаешь толком, как к ним относиться. Поначалу они нам внушают благоговение, их спокойная простота и невозмутимость кажутся мудростью Сократа.

Я, кстати, заметил, что Кви-кег почти не общался с другими моряками в гостинице. Он не делал никаких попыток к сближению, словно не имел ни малейшего желания расширить круг знакомств. Все это показалось мне в высшей степени необычайным; однако, поразмыслив немного, я понял, что в этом было даже какое-то духовное превосходство. Передо мной сидел человек, заброшенный за тысячи миль от родного дома, проделавший долгий путь вокруг мыса Горн – потому что другого пути оттуда нет, – один среди людей, столь чуждых ему, точно он очутился на Юпитере; и тем не менее он держится совершенно непринужденно, сохраняя полнейшее хладнокровие, довольствуясь собственным обществом и всегда оставаясь самим собой. Право же, в этом виден тонкий философ, хотя он, разумеется, никогда о философии и не слыхивал. Но, вероятно, мы, смертные, только тогда можем быть истинными философами,

когда сознательно к этому не стремимся. Если я слышу, что такой-то выдает себя за философа, я тут же заключаю, что он, подобно некоей старухе, просто «животом мается».

Кроме нас, в комнате не было ни души. Огонь в очаге горел слабо, пройдя уже ту стадию, когда своим первым жаром он обогрел помещение и теперь поблескивал лишь для того, чтобы было на что смотреть в задумчивости; а за окном столпились вечерние призраки и тени заглядывали в комнату, где мы сидели вдвоем в одиночестве и молчании; вой метели то торжественно нарастал, то замирал за стеною; и странные чувства стали зарождаться в моей душе. Что-то во мне растаяло. Я почувствовал, что мое ожесточенное сердце и яростная рука уж больше не ведут войну против здешнего волчьего мира. Его искупителем стал этот умиротворяющий дикарь. Вот он сидит передо мною, и самая его невозмутимость говорит о характере, чуждом затаившегося цивилизованного лицемерия и вежливой лжи. Конечно, он дикий, и при этом – редкостное страшилище, но я чувствовал, что меня начинает как-то загадочно тянуть к нему. И притягивало меня, словно сильный магнит, именно то, что оттолкнуло бы всякого другого. Попробую-ка я обзавестись другом-язычником, думал я, раз христианское добросердечие оказалось всего лишь пустой учтивостью. Я пододвинул к нему мою табуретку и стал делать разные дружелюбные знаки и жесты, в то же время всячески стараясь завязать с ним разговор. Вначале он не обращал внимания на мои попытки, но после того как я сослался на его ночное гостеприимство, он сам задал мне вопрос, будем ли мы с ним и в эту ночь спать вместе. Я ответил утвердительно, и мне показалось, что он остался этим доволен, может быть, даже несколько польщен.

Потом мы стали с ним вместе листать ту толстую книгу, и я попытался объяснить ему цель книгопечатания и растолковать смысл нескольких помещенных там иллюстраций. Таким образом мне удалось скоро заинтересовать его, и немного спустя мы уже болтали с ним, как могли, обо всех тех необыкновенных вещах, которые встречаются в этом славном городе. Потом я предложил: «Закурим?» – и он вытащил свой кошель-кисет и томагавк и любезно дал мне затянуться. Так мы с ним и сидели, по очереди попыхивая его дикарской трубкой и неторопливо передавая ее из рук в руки.

Если до этого в груди моего язычника еще оставался лед равнодушия, то теперь дружеский, сердечный огонек нашей трубки окончательно растопил его, и мы сделались задушевными приятелями. Он проникся ко мне такой же естественной, непринужденной симпатией, как и я к нему. И когда мы закурили, он прижал свой лоб к моему, крепко обнял меня за талию и сказал, что отныне мы с ним повенчаны, – подразумевая под этим традиционным в его стране выражением, что мы с ним теперь неразлучные друзья и что он готов умереть за меня, если возникнет в том необходимость. В моем соотечественнике столь скоропалительная вспышка дружелюбия показалась бы весьма преждевременной и не заслуживающей доверия, но к бесхитростному дикарю такие старинные мерки не подходили.

Мы поужинали и опять немного поболтали, выкурили еще одну трубку и вместе отправились к себе в комнату. Здесь он преподнес мне в подарок новозеландскую бальзамированную голову, а также, вынув свой огромный кисет и порывшись в табаке, извлек оттуда что-то около тридцати долларов серебром, разложил их на столе и, поделив на две равные кучки, пододвинул одну из них ко мне и сказал, что это – мое. Я вздумал было отказываться, но он и слушать меня не стал, а просто ссыпал мне монеты в карман. Ну, я уж их там и оставил.

После этого он начал готовиться к своей вечерней молитве, вытащил идола и отодвинул бумажный экран. По некоторым признакам и симптомам я понял, что ему бы очень хотелось, чтобы я к нему присоединился, но, помня всю процедуру, я решил поразмыслить, соглашаться мне, если он меня пригласит, или же нет.

Я честный христианин, рожденный и воспитанный в лоне непогрешимой пресвитерианской церкви. Как же могу я присоединиться к этому дикому идолопоклоннику и вместе с ним поклоняться какой-то деревяшке? Но что значит – поклоняться? Уж не думаешь ли ты,

Измаил, что великодушный Бог небес и земли – а стало быть, язычников и всего прочего – будет ревновать к ничтожному обрубку черного дерева? Быть того не может! Но что значит поклоняться Богу? Исполнять его волю, так ведь? А в чем состоит воля Божья? В том, чтобы я поступал по отношению к ближнему так, как мне бы хотелось, чтобы он поступал по отношению ко мне – вот в чем состоит воля Божья. Квикег – мой ближний. Чего бы я хотел от этого самого Квикега? Ну конечно же, я хотел бы, чтобы он принял мою пресвитерианскую форму поклонения Богу. Следовательно, я тогда должен принять его форму, *ergo*⁷ – я должен стать идолопоклонником. Поэтому я поджег стружки, помог установить бедного безобидного идола, вместе с Квикегом угощал его горелым сухарем, отвесил ему два или три поклона, поцеловал его в нос, и только после всего этого мы разделись и улеглись в постель, каждый в мире со своей совестью и со всем светом. Но перед тем как уснуть, мы еще немного побеседовали.

Не знаю, в чем тут дело, но только нет другого такого места для дружеских откровений, как общая кровать. Говорят, муж с женой открывают здесь друг другу самые глубины своей души, а пожилые супруги нередко до утра лежат и беседуют о былых временах. Так и мы лежали с Квикегом в медовый месяц наших душ – уютная, любящая чета.

⁷ Следовательно (*лат.*).

Глава XI

Ночная сорочка

Так мы лежали в кровати, то болтая, то засыпая ненадолго и чувствуя себя настолько непринужденно и по-приятельски свободно, что Квикег даже время от времени дружелюбно вытягивал свои коричневые татуированные ноги поверх моих; но в конце концов наши задушевные разговоры совершенно разогнали последние остатки сонливости, и мы хоть сейчас готовы были встать, несмотря на то, что заря еще не занималась и утро было еще делом далекого будущего.

У нас с ним сна не осталось ни в одном глазу, мы даже лежать устали и через некоторое время уже сидели, плотно укутавшись одеялом, прислонившись к деревянной спинке кровати и тесно сдвинув наши четыре колена, над которыми низко свисали наши два носа, точно в коленных чашечках у нас, как в жаровнях, лежали раскаленные угли. Нам было очень хорошо и уютно, тем более что на улице стоял мороз, да и не только на улице, но и в комнате, ведь камин-то был нетоплен. Я говорю «тем более», потому что только тогда можно до конца насладиться теплом, когда какой-нибудь небольшой участок вашего тела остается в холоде, ибо нет такого качества в нашем мире, которое продолжало бы существовать вне контраста. Ничего не существует само по себе. Если вы льстите себя мыслью, что вам очень хорошо и удобно – всему вашему телу, с ног до головы, – и притом уже давно, то, значит, вам уже больше не хорошо и не удобно. Но если у вас, как у нас с Квикегом, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы и испытываете общее восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить; теплая спальня – это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами. Ведь высшая степень наслаждения – не иметь между собою и своим теплом, с одной стороны, и холодом внешнего мира – с другой, ничего, кроме шерстяного одеяла. Вы тогда лежите, точно единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла.

Мы уже довольно долго просидели так, поджав колени, когда я вдруг решил, что пора открыть глаза. Дело в том, что в постели – днем ли, ночью ли, сплю ли я или бодрствую – я имею обыкновение всегда держать глаза закрытыми, дабы полнее сосредоточиться на удовольствии пребывать под одеялом. Ибо человек может до конца осознать собственную индивидуальность только тогда, когда веки его сомкнуты, будто именно тьма – родная стихия нашего существа, а не свет, более привлекательный для нашей брэнной оболочки. И вот, открыв глаза, я из мною созданной уютной тьмы попал в навязанный мне извне грубый мрак неосвещенной полуночи – перемена очень резкая и довольно неприятная. Так что я отнюдь не стал возражать, когда Квикег намекнул, что, мол, неплохо было бы зажечь свет, раз уж мы все равно не спим, и к тому же он испытывает сильное желание сделать пару спокойных затяжек из своего томагавка. Надо сказать, если накануне ночью я был решительным образом против того, чтобы он курил в постели, то теперь заметьте себе, как гибки становятся наши твердейшие предубеждения, когда их сгибает родившаяся между людьми любовь. И мне теперь как нельзя более приятно было, чтобы Квикег курил подле меня и даже в постели, потому что у него тогда был такой безмятежный, довольный, домашний вид. Я больше уже не испытывал неоправданного беспокойства относительно хозяйского страхового полиса. Я только чувствовал живое сердечное удовольствие оттого, что делю одеяло и трубку с настоящим другом. Накинув на плечи косматые бушлаты, мы передавали друг другу курящийся томагавк до тех пор, покуда над нами не вырос незаметно и не повис, колыхаясь в свете зажженной лампы, синий балдахин дыма.

То ли это волнообразное колыхание увлекло мысли дикаря прочь, к отдаленным берегам, не знаю, но он вдруг заговорил о своем родном острове, а мне очень хотелось услышать его историю, поэтому я стал настойчиво просить, чтобы он продолжил начатый рассказ. Он

охотно удовлетворил мою просьбу. И хотя в то время я лишь смутно понимал смысл многих его выражений, тем не менее последующие открытия, сделанные мною в результате более близкого знакомства с его отрывистой фразеологией, позволяют мне теперь привести эту историю такой, какой она здесь в сжатом виде и предлагается.

Глава XII

Жизнеописательная

Квикег был туземцем с острова Коковоко, расположенного далеко на юго-западе. На карте этот остров не обозначен – настоящие места никогда не отмечаются на картах.

Будучи еще свежевылупленным дикаренком, бегавшим без присмотра среди лесных кущ в соломенном передничке, который норовили пожевать теснившиеся вокруг него, словно вокруг зеленого деревца, козы, – даже тогда Квикег в глубине своей честолюбивой души уже испытывал сильное желание поближе посмотреть на христианский мир, не ограничиваясь разглядыванием двух-трех заезжих китобойцев. Отец его был верховный вождь, местный монарх, дядя – верховный жрец, а по материнской линии он мог похвастаться несколькими тетушками – женами непобедимых воинов. Так что кровь в его жилах текла высокосортная – настоящая королевская кровь, хотя, боюсь, прискорбно подпорченная людоедскими наклонностями, которые он свободно удовлетворял в дни своей безнадзорной юности.

Однажды в залив его отца зашло судно из Сэг-Харбора, и Квикег стал проситься, чтобы его отвезли в христианскую землю. Однако команда судна была полностью укомплектована, так что его просьбу отклонили, и даже все влияние его монаршего отца ничего не смогло тут изменить. Но Квикег дал себе клятву. Один в своем челноке он уплыл к далекому проливу, через который, как ему было известно, должно было, покинув остров, пройти судно. По одну сторону пролива тянулся коралловый риф, по другую – низкая коса, густо поросшая манграми, которые поднимались не только из земли, но и из воды у берега. В этих зарослях он спрятал свой челнок, поставив его носом к морю, а сам уселся на корме, низко держа в руке весло; а когда судно, скользя, проходило мимо, точно молния, ринулся он наперерез, подгреб к борту, одним толчком ноги перевернул и потопил челнок, вскарабкался вверх на руслень и, плашмя растянувшись во всю длину на палубе, вцепился обеими руками в кольцо рыма, поклявшись, что не разожмет рук, даже если его станут рубить на куски.

Напрасно капитан угрожал вышвырнуть его за борт, напрасно замахивался топором над его обнаженными запястьями – Квикег был царский сын, и Квикег остался тверд. Наконец, потрясенный его отчаянным бесстрашием и столь горячим желанием посетить христианский мир, капитан сменил гнев на милость и сказал Квикегу, что тот может оставаться и устраиваться, как ему будет удобнее. Но этот благородный юный дикарь – принц Уэльский Южных морей – так и не увидел даже капитанской каюты. Его поместили в кубрике с матросами, и он стал китобоем. Подобно царю Петру, с удовольствием плотничавшему на верфях в чужеземных портах, Квикег не гнушался никаким самым презренным занятием, если только оно дарило ему возможность просветить умы его темных соотечественников. Ибо, как признался он мне, в глубине души он руководствовался сокровенным желанием обучиться среди христиан искусствам, способным сделать его народ еще счастливее и, более того, еще лучше, чем он был. Но, увы, жизнь среди китобоев вскоре убедила его, что и христиане могут быть несчастливы и порочны, несравненно несчастливее и порочнее, чем любой язычник, подданный его отца. Когда же он наконец прибыл в старый Сэг-Харбор и увидел, как вели себя там матросы, а потом добрался и до Нантакета и увидел, на что растрачивали они и здесь свои деньги, бедняга Квикег окончательно махнул на все рукой. Зло живет в этом мире под любым меридианом, сказал он себе, так что уж лучше я умру язычником.

Так и получилось, что он, исконный идолопоклонник в душе, жил тем не менее среди христиан, носил такую же, как они, одежду и учился говорить на их, с позволения сказать, языке. И отсюда – все его странности, хоть он давно уже покинул отчий дом.

Как можно тактичнее я спросил его, не намерен ли он вернуться домой и короноваться на царство, поскольку его старого отца, еще давно, как он слышал, впавшего в немошь, теперь уже,

конечно, нет в живых. Он ответил, что нет, пока не намерен; и добавил, что боится, не сделало ли его христианство, вернее, христиане, недостойным взойти на чистый, незапятнанный отчий престол, где до него восседали тридцать языческих царей. Но когда-нибудь, сказал он, он еще вернется – как только снова почувствует себя очищенным от скверны. А покуда он собирается предаться увлечениям юности и поплавать вдоволь по всем четырем океанам. Его научили владеть гарпуном, и теперь это колющее оружие у него взамен скипетра.

Я спросил, каковы его планы на ближайшее будущее. Он ответил, что хотел бы снова пойти в плавание в своей прежней должности. Тут я сообщил ему, что также задумал поступить на китобойное судно, и поделился с ним своим намерением попасть для этого в Нантакет – самый многообещающий порт для начинающего китобоя и любителя приключений. Он тут же принял решение вместе со мной отправиться на остров, поступить на то же судно, что и я, попасть со мной в одну вахту, в один вельбот, за один стол – короче говоря, разделить со мной все превратности судьбы, чтобы мы могли, крепко взявшись за руки, смело черпать от всего, что пошлет нам удача и в Старом, и в Новом Свете. На все это я с радостью согласился, ибо, помимо той привязанности, которую я теперь к нему испытывал, меня поддерживало еще сознание, что Квикег – опытный гарпунщик и поэтому в плавании незаменимый товарищ для такого человека, как я, совершенно несведущего в тайнах китобойного промысла, хотя и неплохо знакомого с морем, насколько это возможно для моряка с торгового судна.

Окончив свой рассказ с последней затяжкой, Квикег обнял меня и прижался лбом к моему лбу, после чего мы задули свечу и вскоре уже спали, откинувшись друг от друга по обе стороны кровати.

Глава XIII

Тачка

На следующее утро, в понедельник, сбыв одному цирюльнику бальзамированную голову в качестве болванки для париков, я уплатил по своему счету и по счету моего друга – воспользовавшись для этого, однако, деньгами друга. Как веселился наш ухмыляющийся хозяин, а с ним и все постояльцы при виде той внезапной дружбы, которая завязалась у меня с Квикегом, ведь несусветицы и небылицы, рассказанные Питером Гробом, раньше очень сильно напугали меня и настроили против того самого человека, с которым я теперь сдружился.

Мы позаимствовали у кого-то тачку и, погрузив на нее свои пожитки, в том числе мой жалкий саквояж, а также парусиновый мешок и свернутую койку Квикега, покатили прочь к пристани, откуда отходил «Лишайник» – маленький нантакетский пакетбот. Мы двигались по улицам, а прохожие с изумлением глазели на нас, и не столько на Квикега – потому что к людоедам в этом городе привыкли, – сколько именно на нас обоих, поражаясь нашей с ним близости. Но мы не обращали на это ни малейшего внимания – мы шагали вперед, по очереди катили тачку и останавливались время от времени, чтобы Квикег мог поправить чехол на лезвиях своего гарпуна. Я поинтересовался, зачем он на суше носит с собой такой неудобный предмет – разве на всяком китобойном судне не достаточно своих гарпунов? На это он мне ответил, что, в сущности, я, конечно, прав, но что он особенно дорожит своим собственным гарпуном, так как лезвие у него из сверхзакаленной стали, испытанное во многих смертельных схватках и близко знакомое с китовым сердцем. Короче говоря, подобно многим жнецам и косарям, которые выходят на фермерский луг, вооружившись собственными косами, хоть они вовсе и не обязаны их приносить, – точно так же и Квикег по каким-то своим личным соображениям предпочитал собственный гарпун.

Перехватывая у меня рукоятки тачки, он рассказал мне забавную историю о том, как он увидел тачку впервые. Дело было в Сэг-Харборе. Хозяева судна дали ему тачку, чтобы он перевез на ней в матросский пансион свой тяжелый сундук. Дабы не показаться не осведомленным в этом деле – а он и понятия не имел о том, как, собственно, с ней обращаться, – Квикег устанавливает на нее свой сундук, накрепко его привязывает, а потом взваливает все вместе себе на плечи и так шагает по пристани.

– Господи, Квикег! – говорю я. – Неужели же ты не знал таких простых вещей? Люди, наверно, смеялись над тобою?

Тогда он рассказал мне другую забавную историю. На его родном острове Роковоко, устраивая свадебные пиршества, туземцы выжимают сладкий сок молодых кокосов в большую раскрашенную тыкву, наподобие чаши для варки пунша, и эта тыква всегда является главным украшением в центре большой циновки, где расставляются яства. Однажды в Роковоко зашло большое купеческое судно, и капитан – по всем отзывам, весьма достойный и безупречный джентльмен, во всяком случае, для морского капитана, – был приглашен на пир по случаю свадьбы юной сестры Квикега – очаровательной молодой царевны, только что достигшей десятилетнего возраста. И вот, когда все гости собрались в бамбуковой хижине невесты, входит этот капитан и усаживается на предназначенное ему почетное место прямо против тыквы между верховным жрецом и его царским величеством – отцом Квикега. Прочитали молитву – ибо у этих людей, точно так же, как и у нас, есть свои молитвы, только Квикег говорил мне, что, в отличие от нас, взирающих во время молитвы вниз, на свои тарелки, они, наоборот, подражают уткам и устремляют взоры вверх, к великому Подателю всех угощений, – так вот, прочитали молитву, и тогда верховный жрец открыл празднество особой древней церемонией – он окунул в тыкву свои освященные и освящающие пальцы, после чего благословенный напиток должен идти по кругу. Но капитан, сидевший подле жреца, увидел это и, считая, что ему,

капитану большого судна, безусловно, должно принадлежать право первенства перед простым царем какого-то острова, тем более в доме этого самого царя, – капитан преспокойно ополаскивает пальцы в пуншевой чаше, полагая, вероятно, что она для того и поставлена здесь, чтобы в ней мыли руки. «Ну, – говорит Квикег, – что ты теперь скажешь? Думаешь, наши люди не смеялись?»

Но вот, заплатив за проезд и пристроив свой багаж, мы очутились на борту пакетбота. Поставлены паруса, и мы скользим вниз по реке Акушнет. Справа от нас террасами своих улиц поднимался Нью-Бедфорд, весь сверкая обледеневшими ветвями деревьев в холодном прозрачном воздухе. На пристанях высокими горами громоздились груды наваленных друг на друга бочек, и тут же один подле другого безмолвно стояли на якоре китобойные суда, избородившие весь свет и наконец вернувшиеся в тихую гавань; но уже с иных палуб доносился звон плотничьих и бондарных инструментов, слышался согласный гул горнов и костров, на которых топили смолу, – все это означало, что готовятся новые рейсы, что окончание одного долгого, опасного плаванья служит лишь началом другого, окончание второго – началом третьего, и так без конца, на вечные времена. Вот она – нескончаемая, нестерпимая бесцельность всех дел земных!

По мере того как мы удалялись от берега, свежий ветер крепчал, и маленький «Лишайник» стал раскидывать носом быструю пену, словно фыркающий жеребенок. С какой жадностью вдыхал я этот воздух кочевий! С каким презрением спешил оставить позади все заставы земли, этой изъезженной дороги, покрытой бесчисленными отпечатками рабских подошв и подков, чтобы восхищаться великодушием моря, которое не сохраняет следов на своем лоне.

И Квикег вместе со мною упивался брызгами пенного фонтана. Смуглые его ноздри раздувались, ровные заостренные зубы обнажались. Все вперед и вперед летели мы. Очутившись в открытом море, «Лишайник» низко поклонился порыву ветра, с разбега зарывшись носом в волну, словно раб, павший ниц перед султаном. Накренившись, неслись мы куда-то вбок, и натянутые снасти звенели, как проволока, а две высокие мачты выгибались, словно тростинки под ветром. Стоя у ныряющего бушприта, мы были настолько поглощены этим головокружительным зрелищем, что не сразу заметили глумливые взгляды, которые бросали в нашу сторону пассажиры – целая компания сухопутных увальней, пораженных тем, что два человека могут быть так дружны, как будто белый человек – не тот же негр, только обеленный. Было среди них несколько болванов и дубин, до такой степени неотесанных и зеленых, точно их только что поналомали в самом сердце лесной чащи. Квикег схватил одного из этих недорослей, корчившего рожи у него за спиной, и я уже решил было, что час бедного дурня пробил. Выпустив из рук гарпун, жилистый дикарь сгреб парня в охапку, с удивительной ловкостью и силой швырнул его высоко в воздух, слегка поддав ему в зад, заставил проделать двойное сальто, после чего юнец, задыхаясь, благополучно опустился на ноги, а Квикег повернулся к нему спиной, разжег свою трубку-томагавк и дал мне затянуться.

– Капитан! Капитан! – заорал дурень, отбежав к почтенному командиру судна. – Видали, что этот черт делает?

– Эй, вы, сэр, – раздался окрик капитана, тощего и долговязого, словно ребро корабельного шпангоута. Он с важным видом подошел к Квикегу и произнес: – Какого дьявола вы это делаете? Разве вы не видите, что так и убить парня можно?

– Чего она сказать? – мягко обратился ко мне Квикег.

– Он говорит: твоя мал-мало убивать тот человек, – и я указал на юнца, все еще дрожащего в отдалении.

– Моя убивать? – воскликнул Квикег, и татуированное его лицо исказила гримаса нечеловеческого презрения. – О! Такой маленький рыба! Квикег не убивать маленький рыба. Квикег убивать большой кит!

– Послушай, ты! – гаркнул тогда капитан. – Я тебя самого буду убивать, проклятый людоед, если ты еще позволишь себе такие шутки у меня на судне! Ты у меня смотри!

Но случилось так, что в этот миг смотреть нужно было самому капитану. Невероятный напор ветра на парус оборвал шкот, и теперь огромное бревно гика стремительно раскачивалось над палубой от борта к борту, покрывая в своем полете всю кормовую часть палубы. Бедного парня, с которым так жестоко обошелся Квикег, тяжелым гиком столкнуло за борт; команду охватила паника; и всякая попытка задержать, остановить бревно представлялась просто безумием. Оно проносило слева направо и обратно за какую-то секунду и, казалось, вот-вот разлетится в щепы. Никто ничего не предпринимал, да как будто бы и нечего было предпринять; все, кто был на палубе, сгруппировались на носу и оттуда недвижно следили за гиком, словно то была челюсть разъяренного кита. Но среди всеобщего ужаса и оцепенения Квикег, не теряя времени, опустился на четвереньки, быстро прополз под летающим бревном, закрепил конец за фальшборт и, свернув его наподобие лассо, набросил на гик, проносившийся как раз у него над головой, сделал могучий рывок – и вот уже бревно в плену, и все спасены. Пакетбот развернули по ветру, матросы бросаются отвязывать кормовую шлюпку, но Квикег, обнаженный до пояса, уже прыгнул за борт и нырнул, описав в воздухе длинную живую дугу. Минуты три он плавал, точно собака, выбрасывая прямо перед собой длинные руки и поочередно поднимая над леденящей пеной свои мускулистые плечи. Я любовался этим великолепным, могучим человеком, но того, кого он спасал, мне не было видно. Юнец уже скрылся под волнами. Тогда Квикег, вытянувшись столбом, выпрыгнул из воды, бросил мгновенный взгляд вокруг и, разглядев, по-видимому, истинное положение дел, нырнул и исчез из виду. Несколько минут спустя он снова появился на поверхности, одну руку по-прежнему выбрасывая вперед, а другой волоча за собой безжизненное тело. Вскоре их подобрала шлюпка. Бедный дурень был спасен. Команда единодушно провозгласила Квикега отличнейшим малым; капитан просил у него прощения. С этого часа я прилепился к Квикегу, словно раковина к обшивке судна, и не расставался с ним до той самой минуты, когда он, нырнув в последний раз, надолго скрылся под волнами.

Он был бесподобен в своем героическом простодушии. Видно, он и не подозревал, что заслуживает медали от всевозможных человеколюбивых обществ Спасения на водах. Он только спросил воды – пресной воды, – чтобы смыть с тела налет соли, а обмывшись и надев сухое платье, разжег свою трубку и стоял курил, прислонившись к борту и доброжелательно глядя на людей, словно говорил себе: «В этом мире под всеми широтами жизнь строится на взаимной поддержке и товариществе. И мы, каннибалы, призваны помогать христианам».

Глава XIV

Нантакет

Больше по пути с нами не произошло ничего достойного упоминания; и вот при попутном ветре мы благополучно прибыли в Нантакет.

Нантакет! Разверните карту и найдите его. Видите? Он расположен в укромном уголке мира; стоит себе в сторонке, далеко от большой земли, еще более одинокий, чем Эддистонский маяк. Поглядите: ведь это всего лишь маленький холмик, горстка песку, один только берег, за которым нет настоящей суши. Песку здесь больше, чем вы за двадцать лет могли бы использовать вместо промокательной бумаги. Шутники расскажут вам, что здесь даже трава не растет сама по себе, а приходится ее сажать; что сюда из Канады завозят чертополох, а если нужно заделать течь в бочонке с китовым жиром, то в поисках втулки отправляются за море; что с каждой деревяшкой в Нантакете носятся, словно с обломками Креста Господня в Риме; что жители Нантакета сажают перед своими домами мухоморы, чтобы летом можно было прохладиться в их тени; что одна травинка здесь – это уже оазис, а три травинки за день пути – прерия; что здесь ходят по песку на специальных лыжах вроде тех, на которых в Лапландии передвигаются по глубокому снегу; что Нантакет до такой степени отрезан от мира океаном, опоясан им, охвачен со всех сторон, окружен и ограничен водой, что здесь нередко можно видеть маленькие ракушки, приставшие к столам и стульям, словно к панцирям морских черепах. Но все эти преувеличения говорят лишь о том, что Нантакет не Иллинойс.

Зато существует восхитительное предание о том, как этот остров был впервые заселен краснокожими людьми. Легенда гласит, что однажды, в стародавние времена, на побережье Новой Англии камнем упал орел и унес в когтях индейского младенца. С горькими причитаниями провожали глазами родители своего ребенка, покуда он не скрылся из виду за водной ширью. Тогда они решили последовать за ним. На своих челнах пустились они по морю и после тяжелого, опасного плавания открыли остров, а на нем нашли пустую костяную коробочку – скелетик маленького индейца.

Что же удивительного, если теперешние нантакетцы, рожденные у моря, в море же ищут для себя средства существования? Вначале они ловили крабов и собирали устриц в песке, осмелев, стали заходить по пояс в воду и сетями вылавливать макрель, потом, понабравшись опыта, отплывали в лодках от берега и промыслили треску и, наконец, спустив на воду целый флот больших кораблей, занялись исследованием нашего водянистого мира, одели его непрерывным поясом кругосветных путешествий, заглянули и по ту сторону Берингова пролива и во всех океанах, на все времена объявили нескончаемую войну могущественнейшей одушевленной массе, пережившей Великий Потоп, самому чудовищному из всех колоссов, этому гималайскому мастодонту соленых морей, облеченному столь безграничной стихийной силой, что он и в испуге своем несет больше зловещей опасности, чем в самых отчаянных яростных нападениях!

Так эти нагие жители Нантакета, эти морские отшельники, отчалив от своего островка, объехали и покорили, подобно многочисленным Александрам, всю водную часть нашего мира, поделив между собой Атлантический, Тихий и Индийский океаны, как поделили Польшу три пиратские державы. Пусть Америка присоединяет Мексику к Техасу, пусть хватает за Канадой Кубу; пусть англичане кишат в Индии и водружают свое ослепительное знамя хоть на самом Солнце – все равно две трети земного шара принадлежат Нантакету. Ибо ему принадлежит море. Моряк с Нантакета правит океанами, как императоры своими империями; а другие моряки обладают лишь правом прохода по чужой территории. Купеческие суда – это всего лишь те же мосты, их морское продолжение; военные корабли – только плавающие крепости; даже пираты и каперы хоть и рыщут по морям, словно разбойники по большим дорогам, только

грабят другие суда – такие же крупинки суши, какими остаются и они сами, – а не ищут источников существования там, в бездонных глубинах. Моряк с Нантакета, он один живет и кормится морем; он один, как сказано в Библии, на кораблях своих спускается по морю, бороздит его вдоль и поперек, точно собственную пашню. Здесь его дом, здесь его дело, которому и Ноев потоп не помешал бы, даже если б и затопил в Китае всех бесчисленных китайцев. Он живет на море, как куропатка в прериях, он прячется среди волн, он взбирается на них, точно охотник за сернами, взбирающийся на Альпы. Годами он не ведает суши, а когда он наконец на нее попадает, для него она пахнет по-особому, точно какой-то другой мир, – так и Луна, наверное, не пахла бы для жителя Земли. Как чайка вдали от берегов складывает крылья на закате и засыпает, покачиваясь меж морских валов, так и моряк из Нантакета свертывает с наступлением ночи паруса и отходит ко сну, опустив голову на подушку, а в глубине под ней стадами проносятся моржи и киты.

Глава XV

Отварная рыба

Был уже поздний вечер, когда маленький «Лишайник» встал потихоньку на якорь и мы с Квикегом очутились на берегу, так что в этот день мы уже не могли заняться никакими делами, кроме добывания ужина и ночлега. Хозяин гостиницы «Китовый фонтан» рекомендовал нам своего двоюродного брата Урию Хази, владельца заведения «Под котлами», которое, как он утверждал, принадлежало к числу лучших в Нантакете и к тому же еще славилось, по его словам, своими блюдами из отварной рыбы с приправами. Короче говоря, он совершенно недвусмысленно дал нам понять, что мы поступим как нельзя лучше, если угостимся чем бог послал из этих котлов. Но указания его насчет дороги – держать желтый пакгауз по правому борту, покуда не откроется белая церковь по левому борту, а тогда, держа все время церковь по левому борту, взять на три румба вправо и после этого спросить первого встречного, где находится гостиница, – эти его угловатые указания немало нас озадачили и спутали, в особенности же вначале, когда Квикег стал утверждать, что желтый пакгауз – первый наш ориентир – должен оставаться по левому борту, мне же помнилось, что Питер Гроб определенно сказал: «по правому». Как бы то ни было, но, порядком поплутав во мраке, стаскивая по временам с постели кого-нибудь из мирных здешних жителей, чтобы справиться о дороге, мы наконец без расспросов вдруг поняли, что очутились там, где надо.

У ветхого крыльца стояла врытая в землю старая стенга с салингами, на которых, подвешенные за ушки, болтались два огромных деревянных котла, выкрашенных черной краской. Свободные концы салингов были спилены, так что вся эта верхушка старой мачты в немалой степени походила на виселицу. Быть может, в то время я оказался излишне чувствителен к подобным впечатлениям, только я глядел на эту виселицу со смутным предчувствием беды. У меня даже шею как-то свело, покуда я рассматривал две перекладины – да-да, именно две: одна для Квикега и одна для меня! Не дурные ли это все предзнаменования: некто Гроб – мой хозяин в первом же порту, могильные плиты, глядящие на меня в часовне, а здесь вот – виселица! Да еще пара чудовищных черных котлов! Не служат ли эти последние туманным намеком на адское пекло?

От подобных размышлений меня отвлекла веснушчатая, рыжеволосая женщина в рыжем же платье, которая остановилась на пороге гостиницы под тускло-красным висячим фонарем, сильно напоминавшим подбитый глаз, и на все корки честила какого-то человека в фиолетовой шерстяной фуфайке.

– Чтоб духу твоего здесь не было, слышишь? – говорила она. – Не то смотри, задам тебе трепку!

– Все в порядке, Квикег, – сказал я. – Это, конечно, миссис Фурия Хази.

Так оно и оказалось. Мистер Урия Хази находился в отлучке, предоставив жене в полное распоряжение все дела. Когда мы уведомили ее о своем желании получить ужин и ночлег, миссис Фурия, отложив на время выволочку, препроводила нас в маленькую комнатку, усадила за стол, изобилующий следами недавней трапезы, и, обернувшись к нам, произнесла:

– Разинька или треска?

– Простите, что такое вы сказали насчет трески, мадам? —с изысканной вежливостью переспросил я.

– Разинька или треска?

– Разинька на ужин? Холодный моллюск? Неужели именно это хотели вы сказать, миссис Хази? – говорю я. – Не слишком ли это липкое, холодное и скользкое угощение для зимнего времени, миссис Фурия, как вы полагаете?

Но она очень торопилась возобновить перебранку с человеком в фиолетовой фуфайке, который дожидался в сенях своей порции ругани, и, видимо, ничего не разобрав в моей тираде, кроме слова «разинька», подбежала к раскрытой двери в кухню, выпалила туда: «Разинька на двоих!» – и исчезла.

– Квикег, – говорю я, – как ты думаешь, хватит нам с тобой на ужин одной разиньки на двоих?

Однако из кухни потянул горячий дымный аромат, в значительной мере опровергавший мои безрадостные опасения. Когда же дымящееся блюдо очутилось перед нами, загадка разрешилась самым восхитительным образом. О любезные друзья мои! Послушайте, что я вам расскажу! Это были маленькие, сочные моллюски, ну не крупнее каштана, перемешанные с размолотыми морскими сухарями и мелко нарезанной соленой свининой! Все это обильно сдобрено маслом и щедро приправлено перцем и солью!

Аппетиты у нас порядком разыгрались на морозном воздухе после поездки, особенно у Квикега, неожиданно увидевшего перед собою любимое рыбацкое кушанье; к тому же на вкус это блюдо оказалось просто превосходным, так что мы расправились с ним с великой поспешностью, и тогда, на минуту откинувшись назад, я припомнил, как миссис Фурия провозгласила: «Разинька или треска?», и решил провести небольшой эксперимент. Я подошел к двери в кухню и с сильным чувством произнес только одно слово: «Треска!» – после чего снова занял место у стола. Через несколько мгновений вновь потянуло дымным ароматом, только теперь с иным привкусом, а через положенный промежуток времени перед нами появилась отличная вареная треска.

Мы снова принялись за дело, сидим и орудуем ложками, и я вдруг говорю себе: «Интересно, разве это должно действовать на голову? Кажется, есть какая-то дурацкая шутка насчет людей с рыбьими мозгами? Но погляди-ка, Квикег, не живой ли угорь у тебя в тарелке? Где же твой гарпун?»

Темное это было место «Под котлами», в которых круглые сутки варились немыслимые количества рыбы. Рыба на завтрак, рыба на обед, рыба на ужин, так что в конце концов начинаешь оглядываться: не торчат ли рыбьи кости у тебя сквозь одежду? Пространство перед домом сплошь замощено раковинками разинек. Миссис Фурия Хази носит ожерелье из полированных тресковых позвонков, а у мистера Хази все счетные книги переплетены в первоклассную акульную кожу. Даже молоко там с рыбным привкусом, по поводу чего я долго недоумевал, пока в одно прекрасное утро не наткнулся случайно во время прогулки вдоль берега среди рыбацких лодок на пятнистую хозяйскую корову, которая паслась там, поедая рыбьи останки, и ковыляла по песку, кое-как переступая ногами и волоча на каждом своем копыте по отсеченной тресковой голове.

По завершении ужина мы получили от миссис Фурии лампу и указания относительно кратчайшей дороги до кровати, однако, когда Квикег начал было впереди меня подыматься по лестнице, эта леди протянула руку и потребовала у него гарпун – у нее в спальнях гарпуны держать не разрешается.

– Почему же? – возразил я. – Всякий истинный китолов спит со своим гарпуном. Почему же вы-то запрещаете?

– Потому что это опасно, – говорит она. – С того самого раза, как нашли молодого Стигза после неудачного плавания, когда он уходил на целых четыре с половиной года, а вернулся только с тремя бочонками жира, как его нашли у меня в задней комнате на втором этаже мертвого с гарпуном в боку, так с самого того раза я не разрешаю постояльцам брать с собой на ночь опасное оружие. Так что, мистер Квикег (она уже выяснила, как его зовут), я у вас беру этот гарпун, а утром сможете получить его назад. Да, вот еще: что закажете на завтрак, разиньку или треску?

– И то и другое, – ответил я. – И вдобавок пару копченых селедок для разнообразия.

Глава XVI

Корабль

Улегшись в постель, мы принялись составлять планы на завтра. Но, к изумлению моему и немалому беспокойству, Квикег дал мне понять, что он успел подробно проконсультироваться с Йоджо – так звали его черного божка – и что Йоджо три или четыре раза подряд повторил ему одно указание и всячески на нем настаивал: вместо того чтобы нам с Квикегом вдвоем идти на пристань и объединенными усилиями выбирать подходящее китобойное судно, вместо этого Йоджо настоятельно предписывал мне взять выбор корабля полностью на себя, тем более что Йоджо намерен был нам покровительствовать и с этой целью уже заприметил один корабль, на котором я, Измаил, действуя сам по себе, обязательно остановлю свой выбор, как будто бы тут все дело чистого случая; и на это самое судно мне надлежало немедленно наняться, независимо от того, где будет в это время Квикег.

Я забыл упомянуть, что Квикег во многих вопросах очень полагался на выдающиеся суждения Йоджо и на его удивительные провидения; он относился к Йоджо весьма почтительно и считал его, в общем-то, неплохим богом, которому искренне хотелось бы, чтобы все было хорошо, да только не всегда удавалось осуществить свои благие намерения.

Однако этот план Квикега, вернее, план Йоджо, относительно выбора корабля мне вовсе не пришелся по вкусу. Я-то очень рассчитывал, что осведомленность и проницательность Квикега укажут нам китобойное судно, наиболее достойное того, чтоб мы вверили ему себя и свои судьбы. Но все мои протесты не возымели ни малейшего действия, мне пришлось подчиниться; и я приготовился взяться за дело с такой энергией и решительностью, чтобы одним стремительным натиском сразу же покончить с этим пустячным предприятием.

На следующее утро, пораньше, оставив Квикега в нашей комнатке, где он заперся вместе со своим Йоджо – поскольку у них наступил, кажется, какой-то Великий Пост, или Рамадан, или День Умерщвления Плоти, Смирения и Молитв (что именно, я выяснить не сумел, потому что хоть и пытался многократно, но никак не мог усвоить его литургии и тридцати девяти догматов), – предоставив Квикегу поститься и курить трубку-томагавк, а Йоджо греться у жертвенного огня, разведенного на стружках, я вышел из гостиницы и зашагал в сторону гавани. Здесь после длительных блужданий и попутных расспросов я выяснил, что три судна готовились уйти в трехгодичное плавание: «Чертова Запруда», «Лакомый Кусочек» и «Пекод». Что означает наименование «Чертова Запруда», я не знаю; «Лакомый Кусочек» – это понятно само по себе; а «Пекод», как вы, несомненно, помните, это название знаменитого племени массачусетских индейцев, ныне вымерших, подобно древним мидянам. Я облазил и осмотрел «Чертову Запруду», потом перебрался на «Лакомый Кусочек», наконец поднялся на борт «Пекода», огляделся по сторонам и сразу же решил, что это и есть самый подходящий для нас корабль.

Спорить не стану, быть может, вам и приходилось в жизни видеть всевозможные редкостные морские посудины: тупоносые люгтеры, громоздкие японские джонки, галиоты, похожие на соусники, и прочие диковины; но можете мне поверить, никогда не случалось вам видеть такую удивительную старую посудину, как этот вот удивительный «Пекод». Это было судно старинного образца, не слишком большое и по-старомодному раздутое в боках. Корпус его, обветренный и огрубелый под тайфунами и штилями во всех четырех океанах, был темного цвета, как лицо французского гренадера, которому приходилось сражаться и в Египте, и в Сибири. Древний нос корабля, казалось, порос почтенной бородой. А мачты – срубленные где-то на японском берегу, когда прежние сбило и унесло за борт штормом, – мачты стояли прямые и негибкие, как спины трех восточных царей из Кельнского собора. Старинные палубы были ветхи и испещрены морщинами, словно истертые паломниками плиты Кентерберийского собора, на которых истек кровью Фома Бекет. Но ко всем этим диковинным древностям добав-

лялись еще иные необычайные черты, наложенные на судно тем буйным ремеслом, которым оно занималось вот уже более полустолетия. Старый капитан Фалек, много лет проплававший на нем старшим помощником – до того, как он стал водить другое судно, уже под собственным началом, – а теперь живший в отставке и бывший одним из основных владельцев «Пекода», этот старик Фалек, пока плавал старшим помощником, весьма приумножил исконное своеобразие «Пекода», разделив его от носа до кормы и покрыв такими редкостными по материалу и узору украшениями, с которыми ничто в мире не могло бы идти в сравнение – разве только резная кровать или щит Торкила Живоглота. Разряженный «Пекод» напоминал варварского эфиопского императора с тяжелыми и блестящими костяными подвесками вокруг шеи. Все судно было увешано трофеями – настоящий каннибал среди кораблей, украсившийся костями убитых врагов. Его открытые борта, словно огромная челюсть, были унижены длинными и острыми зубами кашалота, которые служили здесь вместо нагелей, чтобы закреплять на них пеньковые мышцы и сухожилия судна. И пропущены эти сухожилия были не через деревянные блоки, они проворно бежали по благородно-желтоватым костяным шкивам. С презрением отвергнув простое штурвальное колесо, почтенное судно несло на себе необыкновенный румпель, целиком вырезанный из длинной и узкой челюсти своего наследственного врага. В бурю рулевому у этого румпеля, должно быть, чудилось, будто он, словно дикий монгол, осаживает взбесившего скакуна, вцепившись прямо в его оскаленную челюсть. Да, это был благородный корабль, да только уж очень угрюмый. Благородство всегда немножко угрюмо.

Оглядывая шканцы в поисках какого-нибудь начальства, которому я мог бы предложить себя в качестве кандидата на пост матроса в предстоящем плавании, я сперва никого не видел. Однако от взгляда моего не могла укрыться какая-то необычайного вида палатка – что-то вроде вигвама, – разбитая сразу же позади грот-мачты. Видимо, это было временное сооружение, используемое только пока корабль стоит в порту. Оно имело форму конуса высотой футов в десять и составлено было из огромных упругих черных костяных пластин, какие извлекаются из срединной и задней частей китовой челюсти. Установленные в круг широкими концами на палубе и плотно сплетенные, эти пластины китового уса, сужаясь кверху, смыкались, образуя острую верхушку, украшенную султаном из гибких ворсистых волокон, которые развевались в разные стороны, точно пучок перьев на макушке старого индейского вождя Поттовоттами. К носу корабля было обращено треугольное отверстие, и через него находящиеся внутри могли видеть все, что делалось на палубе.

И вот в этом-то странном жилище я наконец разглядел человека, кому, по внешности судя, принадлежала здесь власть и кто, поскольку дело происходило в полдень и все работы были прерваны, предавался сейчас отдыху, скинув покамест ее бремя. Он сидел на старинном дубовом стуле, сверху донизу покрытом завитками самой замысловатой резьбы, а сиденье этого стула было сплетено из прочных полос того же самого материала, какой пошел на возведение вигвама.

Ничего чрезвычайного в облике пожилого джентльмена, пожалуй, не было; он был смугл и жилист, как и всякий старый моряк, и плотно закутан в синий лоцманский бушлат старомодного квакерского покроя; только вокруг глаз у него лежала тонкая, почти микроскопическая сеточка мельчайших переплетающихся морщин, образовавшаяся, вероятно, оттого, что он часто бывал в море во время сильного шторма и всегда поворачивался лицом навстречу ветру – от этого мышцы возле глаз напрягаются и сводятся. Такие морщины придают особую внушительность грозному взгляду.

- Не вы ли будете капитан «Пекода»? – проговорил я, приблизившись к входу в палатку.
- Допустим, что так, а чего тебе надобно от капитана «Пекода»? – отозвался он.
- Я насчет того, чтоб наняться в команду.
- В команду, а? Вижу, ты приезжий, – случалось ли тебе сидеть в разбитом вельботе?
- Нет, сэр, не случалось.

– И в китовом промысле ты ничего не смыслишь, а?

– Нет, сэр, не смыслю. Но я, конечно, скоро выучусь. Ведь я несколько раз плавал на торговом судне и думаю, что...

– К чертям торговое судно! Чтоб я больше слов таких не слышал! Не то – взгляни на свою ногу – я выломаю эту ногу из твоей кормы, если ты еще посмеешь говорить мне о торговом судне. Подумаешь, торговое судно! Уж не гордишься ли ты, что плавал на торговом судне? Однако, парень, чего это тебя потянуло в китобой? Подозрительно что-то, а? Ты не был ли пиратом, а? Или, может, ты ограбил своего капитана? Может, ты задумал перерезать командиров, как только выйдешь в море?

Я заверил его, что неповинен в подобных злоумышлениях. Но я понимал, что под этими полушутливыми обвинениями у старого моряка, у этого квакера и островитянина крылось нантакетское островное недоверие и предубеждение против всех приезжих, кроме жителей мыса Кейп-Код и острова Вайнъярд.

– Что же все-таки заставляет тебя идти в китобой? Я хочу знать это, прежде чем стану думать, стоит ли тебя нанимать.

– Как вам сказать, сэр. В общем, я хочу ознакомиться с китобойным делом. Хочу посмотреть мир.

– Хочешь ознакомиться с китобойным делом, а? А ты капитана Ахава видел?

– А кто такой капитан Ахав, сэр?

– Ага, я так и думал. Капитан Ахав – это капитан «Пекода».

– В таком случае я ошибся. Я думал, что говорю с самим капитаном.

– Ты говоришь с капитаном – с капитаном Фалеком, вот с кем ты говоришь, юноша. Дело мое и капитана Вилдада – снаряжение «Пекода» перед плаванием, поставка на борт всего необходимого, а значит, и подбор экипажа. Мы совладельцы судна и агенты. Но вот что: если, как ты говоришь, ты желаешь ознакомиться с китобойным делом, я могу указать тебе способ сделать это, прежде чем ты свяжешь себя безвозвратно. Погляди на капитана Ахава, юноша, и ты увидишь, что у него только одна нога.

– Что вы хотите сказать, сэр? Разве второй ноги он лишился из-за кита?

– Из-за кита?! Подойди-ка поближе, юноша; эту ногу пожрал, изжевал, сгрыз ужаснейший из кашалотов, когда-либо разносивших в щепки вельбот! О! О!

Меня слегка напугала страстность его выражений и слегка взволновало искреннее горе, звучавшее в заключительных восклицаниях, но все-таки, по возможности спокойно, я проговорил:

– То, что вы рассказали, сэр, без сомнения, истинная правда. Но откуда мне знать, что именно эта порода китов отличается особой свирепостью? Разве только я заключаю это из вашего рассказа о несчастном случае.

– Послушай-ка, юноша, что-то у тебя голос сладковат. Говоришь ты совсем не как моряк. Ты уверен, что уже ходил в море, совершенно уверен, а?

– Сэр, – возразил я. – Мне казалось, что я уже сообщил вам, что я четыре раза плавал на торговом судне.

– Но, но! Потихе! Помни, что я говорил тебе о торговых судах, не раздражай меня, я этого не потерплю. Давай-ка пойдем друг друга получше. Я тебе намекнул слегка на то, каково в действительности китобойное дело. Ну как, ты все еще испытываешь к нему склонность?

– Да, сэр.

– Ну что ж. Очень хорошо. А теперь отвечай, только быстро: сможешь ты зашвырнуть гарпун в пасть живому киту и следом сам туда запрыгнуть?

– Да, сэр, если, конечно, это будет совершенно необходимо. То есть если уж без этого никак не обойтись, в чем я, между прочим, очень сомневаюсь.

– Ладно. А теперь вот что: ты намерен поступить на китобоец не только для того, чтобы ознакомиться с китобойным делом, но еще и затем, чтобы поглядеть мир? Так, что ли, ты говорил? Ага! Так вот, сходи вон туда, загляни за планшир на носу, а потом возвращайся ко мне и расскажи, что видел.

Минуту я стоял в нерешительности, недоумевая, как мне отнестись к этому удивительному повелению – всерьез или как к шутке. Но капитан Фалек, собрав у глаз все свои морщины, взглянул на меня так грозно, что я тут же бросился выполнять приказ.

Я прошел на нос и заглянул за борт. Был прилив, и судно, покачиваясь на якоре, развернулось носом наискось в открытое море. Передо мной расстился простор, бескрайний, но удивительно, устрашающе однообразный – не на чем было взгляду остановиться.

– Ну, докладывай, – сказал Фалек, когда я вернулся назад. – Что ж ты видел?

– Ничего особенного, – ответил я. – Только вода и вода. Но горизонт просматривается неплохо и, по-моему, идет шквал.

– Так как же насчет того, чтобы поглядеть мир? Что ты теперь скажешь, а? Стоит ли ради этого огибать мыс Горн? Не лучше ли тебе глядеть на мир оттуда, где ты стоишь?

Я был слегка задет этим рассуждением, но все равно решил пойти в китобой, и так тому и быть; а «Пекод» – вполне подходящее для меня судно, я бы сказал даже, самое подходящее. Все это я повторил теперь капитану Фалеку, и он, видя мою решимость, выразил согласие меня нанять.

– Можешь сразу же и подписать все бумаги, – заключил он. – Ступай-ка со мной.

И он стал спускаться в капитанскую каюту; я последовал за ним. Здесь я увидел, что на транце сидит какая-то в высшей степени необычайная, удивительная фигура. Оказалось, что это капитан Вилдад, который наряду с капитаном Фалеком был одним из основных владельцев корабля, – остальные акции принадлежали, как нередко бывает в этих портах, всевозможным мелким держателям: вдовам, сиротам и ночным сторожам, и собственность каждого из них не превышала стоимости одного бревна, или доски, или двух-трех заклепок в корабельном корпусе. Жители Нантакета вкладывают свои деньги в китобойные суда точно так же, как вы свои помещаете в надежные государственные бумаги, приносящие хорошие проценты.

Этот Вилдад был квакером, так же как и Фалек, и многие другие обитатели Нантакета, ведь первые поселенцы на острове принадлежали именно к этой секте; и вплоть до сегодняшнего дня здешние жители сохраняют в основном все своеобразие квакерства, видоизменив его вместе с тем самым замысловатым и неестественным образом в результате совершенно чуждых и разнородных влияний. Подчас, как ни у кого на свете, полнокровна жизнь этих квакеров – моряков и китобоев. Это – воинственные квакеры, квакеры-мстители.

И есть среди них такие, кто хоть и носит библейское имя, как предписывает весьма пространственный на острове обычай, и, с молоком матери всосав привычку к суровому и величественному квакерскому этикету, ко всем обращается на «ты», тем не менее под воздействием бесчисленных отчаянно смелых приключений, какими изобилует вся его жизнь, начинает удивительным образом сочетать эти неизжитые странности с дерзким нравом и лихими порывами, достойными скандинавского морского конунга и романтического язычника-римлянина. И когда эти черты соединяются в человеке большой природной силы, чей мозг объемист, а сердце весомо, в человеке, которого безмолвие и уединение долгих ночных вахт в далеких морях под яркими, неведомыми здесь, на Севере, созвездиями научили мыслить независимо, свободно, воспринимая все сладостные и жестокие впечатления прямо из девственной груди самой природы, доверчивой и открытой, и так познавать – не без случайной помощи порою – смелый и взволнованный, возвышенный язык, вот тогда появляется человек, один из целого народа, благородное, блистательное создание, предназначенное для подмогнов великих трагедий. И с точки зрения сценической, достоинства его вовсе не умаляются, если в глубине его души, от рождения ли или же в силу обстоятельств, заложена, хотя бы из упрямства, некая

всеподавляющая болезненность. Ибо все трагически великие люди становятся таковыми в силу своей затаенной болезненности. Помни об этом, о юное тщеславие: всякое смертное величие есть только болезнь. Но мы покуда еще имеем дело не с таким, а совсем с иным человеком, который, однако, тоже представляет собой определенный тип квакера, возникший под воздействием особых условий.

Как и капитан Фалек, капитан Вилдад был состоятелен и уже ушел от дел. Однако в отличие от капитана Фалека, который нисколько не интересовался так называемыми серьезными вещами, полагая эти самые серьезные вещи сущими пустяками, капитан Вилдад не только получил образование в духе самого строгого нантакетского квакерства, но и, несмотря на свою последующую моряцкую жизнь и даже созерцание восхитительных нагих островитянок по ту сторону мыса Горн, ни на йоту не поступился своей квакерской натурой, не пожертвовал ни единым крючком на своем квакерском жилете. И все же при такой стойкости почтенному капитану Вилдаду явно не хватало элементарной последовательности. Отказываясь по соображениям морально-религиозным защищаться с оружием в руках от наземных набегов, сам он тем не менее совершал бесчисленные набеги на Атлантику и Тихий океан и, будучи заклятым врагом кровопролития, пролил, однако, не снимая своего тесного сюртука, целые тонны левиафановой крови. Как удавалось набожному Вилдаду теперь, на задумчивом закате жизни, примирить противоречивые воспоминания своего прошлого, этого я не знаю, только все это его, видимо, не очень занимало, ибо он, вероятно, уже давно пришел к весьма глубокомысленному и разумному выводу, что религия – это одно, а наш реальный мир – совсем другое. Реальный мир платит дивиденды. Начав с жалкой роли мальчика-юнги в короткой убогой одежке, он стал потом гарпунщиком в просторном квакерском жилете с круглым вырезом, затем командиром вельбота, старшим помощником, капитаном и, наконец, владельцем судна. Свою бурную карьеру Вилдад окончил, как я уже упомянул, в возрасте шестидесяти лет, полностью удалившись от деятельной жизни и посвятив остаток дней своих безмятежному накоплению заслуженных доходов.

Но должен с огорчением заметить, что у Вилдада была слава неисправимого старого скпердя, а на море он в свое время отличался суровым и жестоким обращением с подчиненными. Мне рассказывали в Нантакете – хоть это, конечно, весьма странная история, – что, когда он приходил в порт на своем старом «Каттегате», матросов прямо с борта увозили в больницу – так они были измождены и обессилены. Для человека набожного, в особенности для квакера, у него, безусловно, было, выражаясь мягко, довольно бесчувственное сердце. Говорят, правда, что он никогда не бранился, но тем не менее он всегда ухитрялся вытягивать из людей все жилы, безжалостно принуждая их к непомерно тяжелой, непосильной работе. Еще когда Вилдад плавал старшим помощником, достаточно было его пристального, мутного глаза уставиться на человека, и тем уже овладевало беспокойство, так что он наконец хватался за что попало – будь то молоток или свайка – и начинал работать как одержимый, только бы не оставаться без дела. Лень и праздность испепелялись под его взором. Его бережливая натура явственно отразилась и на его внешности. На худом долговязом теле не было ни малейших излишков мяса и никаких избытков бороды на подбородке, где торчал только мягкий, экономичный ворс, напоминающий ворс его широкополой шляпы.

Таков был тот, кто сидел на транце в каюте, куда я вошел следом за капитаном Фалек. Расстояние между палубами было невелико, и в этом тесном пространстве прямой, как палка, сидел старый Вилдад – он всегда сидел прямо, чтобы не мять фалды сюртука. Широкополая шляпа лежала подле. Он сидел в своем доверху застегнутом темно-коричневом облачении, скрестив сухие, как палки, ноги и водрузив на нос очки, поглощенный чтением какой-то чрезвычайно толстой книги.

– Вилдад! – воскликнул капитан Фалек. – Ты опять за свое? Вот уж на моей памяти тридцать лет, как ты читаешь Святое Писание. Докуда же ты дошел, Вилдад?

Видно, издавна приученный к богохульным разговорам своего старого приятеля, Вилдад спокойно, не обращая внимания на его неучтивость, поднял глаза от книги и, увидев меня, перевел на Фалека вопросительный взгляд.

– Он говорит, что хочет наняться на «Пекод», – пояснил Фалек.

– Ты желаешь поступить на «Пекод»? – глухим голосом переспросил он, оборачиваясь ко мне.

– Желаю, – ответил я, бессознательно повторяя его высокопарное квакерское выражение.

– Как он тебе кажется, Вилдад? – спросил Фалек.

– Подойдет, – заявил Вилдад, разглядывая меня, и тут же снова обратился к Библии и стал читать по складам, довольно громко бормоча себе под нос.

Я подумал, что еще никогда в жизни не видел такого странного старого квакера, ведь вот его друг и компаньон Фалек был таким резким и крикливым. Но я ничего не сказал, а только внимательно осмотрелся. Фалек открыл какой-то ящик, вытащил оттуда корабельные документы и уселся за столик, поставив перед собой чернильницу и перья. Тогда я подумал, что настало время решить для себя, на каких условиях согласен я принять участие в предстоящем плавании. Мне уже было известно, что на китобойцах жалованья не платят; здесь каждый в команде, включая капитана, получает определенную часть добычи, которая называется долей и начисляется в зависимости от того, насколько важную задачу выполняет тот или иной член экипажа. Понимал я также, что, будучи новичком на китобойном судне, я не могу рассчитывать на особенно большую долю; однако, поскольку морское дело было мне знакомо, я умел стоять за штурвалом, сплескивать концы и всякое такое, я не сомневался, что мне предложат по меньшей мере 275-ю долю, то есть одну 275-ю часть чистого дохода от плавания, каков бы этот доход ни оказался. И хотя 275-я доля была, по местному выражению, довольно «долгая доля», все же это лучше, чем ничего, а если плавание будет удачным, то очень вероятно, что тем самым окупится сношенная мною за это время одежда, не говоря уже о пище и койке, за которые я целых три года не должен буду платить ни гроша.

Подумают, пожалуй, что это довольно жалкий способ скопить княжеские богатства, да так оно и есть на самом деле. Но я не из тех, кто особенно беспокоится о княжеских богатствах, с меня довольно, если мир готов предоставить мне кров и пищу на то время, пока я гощу здесь, под зловещей вывеской «Грозовой Тучи». В общем, я полагал, что 275-я доля – это было бы вполне справедливо, однако меня бы не удивило, если бы мне предложили 200-ю долю: ведь я был крепок и широкоплеч.

Но все-таки имелось одно соображение, которое подрывало мою уверенность в том, что мне будет предоставлено приличное участие в общих доходах. Я еще на берегу наслышался и о капитане Фалеке, и об его удивительном старом дружке Вилдаде – говорили, что им, как двум основным собственникам «Пекода», остальные владельцы, менее значительные и к тому же рассеянные по всему острову, всецело предоставляют распоряжаться делами судна. И надо полагать, по такому вопросу, как наем экипажа, старый скряга Вилдад мог сказать свое веское слово, тем более что он оказался тут же, на борту «Пекода», и читал здесь свою неизменную Библию, с комфортом устроившись в капитанской каюте, словно у себя дома перед камином. Но пока Фалек тщетно пытался очинить перо большим складным ножом, старый Вилдад, к немалому моему удивлению – ведь и он был лицом заинтересованным в этой процедуре, – старый Вилдад, не обращая на нас никакого внимания, продолжал бормотать себе под нос: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль...»

– Доля, капитан Вилдад, – подхватил Фалек, – да, да, что ты там такое говоришь насчет доля? Сколько, по-твоему, должны мы дать этому юноше?

– Ведомо тебе самому, – последовал погребальный ответ. – Семьсот семьдесят седьмая доля – это не слишком много, как по-твоему? «...Где моль и ржа истребляют, но...»

«Действительно сокровище, – подумал я. – Семьсот семьдесят седьмая доля!» Я вижу, старина Вилдад, ты всерьез озабочен тем, чтобы я-то, во всяком случае, не собрал больших сокровищ на этом свете, где моль и ржа истребляют. Это и в самом деле была чрезвычайно долгая доля, и хоть на первый взгляд большая цифра и может вызвать у человека неосведомленного обратное представление, однако самое простое рассуждение покажет, что, как ни велико число семьсот семьдесят семь, все же, если сделать его знаменателем, сразу станет очевидным, что одна семьсот семьдесят седьмая часть фартинга – это значительно меньше, чем семьсот семьдесят семь золотых дублонов; а я такого именно мнения и придерживался.

– Ах, чтоб тебе провалиться, Вилдад! – закричал на него Фалек. – Ты что же, хочешь надуть этого парня? Надо дать ему больше.

– Семьсот семьдесят седьмая, – повторил Вилдад, не отрываясь от книги, и снова забормотал: – «...Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

– Я записываю его на трехсотую долю, – заявил Фалек. – Слышишь, Вилдад? Я говорю: на трехсотую.

Вилдад отпустил книгу и, с важным видом повернувшись к Фалеку, проговорил:

– Капитан Фалек, у тебя доброе сердце, но тебе не следует забывать о своем долге по отношению к другим владельцам корабля, – а многие среди них вдовы и сироты, – и тебе не следует забывать, что, слишком щедро наградив за труды этого юношу, мы тем самым лишим куска хлеба всех этих вдов и всех этих сирот. Семьсот семьдесят седьмая доля, капитан Фалек.

– Эй ты, Вилдад! – заревел Фалек, вскочив и затопав ногами. – Лопни мои глаза, если бы я следовал в таких делах твоим советам, капитан Вилдад, у меня бы сейчас на совести скопился такой балласт, что от него пошло бы на дно самое большое судно, какое только огибало мыс Горн.

– Капитан Фалек, – твердо отпарировал Вилдад, – не знаю, сколь глубоко сидит в воде твоя совесть, может, на десять дюймов, а может, и на десять саженей, но ты упорствуешь в своих прегрешениях, и боюсь, совесть твоя дала большую течь, из-за которой пойдешь в конце концов на дно ты сам – прямо в преисподнюю, капитан Фалек.

– Ах вот как! В преисподнюю! Ты нанес мне оскорбление, слышишь! Невыносимое оскорбление. Говорить человеку, что он попадет в ад, это адское надругательство. Гром и молния! Попробуй только повторить это еще раз, Вилдад, и я за себя не ручаюсь. Да я... я... я живого козла проглочу, со шкурой и рогами! Вон отсюда, ты, плаксивый ханжа, ты, мутноглазый сын деревяшки! Вон – прямым кильватером!

Выпалив все это, он бросился на Вилдада, но тот уклонился от него с каким-то небывалым скольльзящим проворством.

Встревоженный столь внезапной яростной схваткой между двумя главными и ответственными владельцами корабля и уже сомневаясь, стоит ли идти на это судно с такими ненадежными хозяевами и временными капитанами, я отступил в сторону от двери, чтобы пропустить Вилдада, который жаждал, как я был уверен, бежать проснувшегося Фалекова гнева. Но, к удивлению моему, тот преспокойно вновь уселся на транце и, видимо, не имел ни малейшего намерения уходить. Он давно свыкся с упорствующим во грехе Фалеком и его манерами. Что же до Фалека, то и он, израсходовав весь запас своей ярости, теперь уселся, кроткий как агнец, все еще, однако, слегка подергиваясь, ибо нервное возбуждение его еще не вполне улеглось.

– Уф-ф, – проговорил он наконец, отдуваясь, – шквал, кажется, ушел по левому борту. Вилдад, ты когда-то был мастер затачивать острогу, очини-ка мне, будь добр, это перо. А то у меня нож вконец затупился. Вот так, спасибо тебе, Вилдад. Ну, юноша, как, ты говоришь, тебя зовут? Измаил? Так вот, Измаил, я записываю тебя здесь на трехсотую долю.

– Капитан Фалек, – сказал тут я, – у меня еще товарищ есть, он тоже хочет идти в плавание. Можно я приведу его завтра утром?

– А как же, – ответил Фалек. – Веди его сюда, и мы на него посмотрим.

– А он какую долю потребует? – закричал Вилдад, поднимая глаза от Библии, в которую он уже опять зарылся.

– Да не волнуйся ты об этом, Вилдад, – сказал ему Фалек. – Он уже ходил когда-нибудь за китами? – повернулся он ко мне.

– Перебил столько китов, что и не перечесть, капитан Фалек.

– Ну что ж, тогда приводи его.

И я, подписав бумаги, удалился, ничуть не сомневаясь в том, что отлично справился со своей задачей и что «Пекод» и есть то самое судно, на котором Йоджо предназначил нам с Квикегом обогнуть мыс Горн.

Но, не пройдя и нескольких шагов, я сообразил, что так и не видел капитана, с которым мне придется плыть; хотя, как я знал, нередко бывает, что китобойное судно уже полностью снаряжено и весь экипаж принят на борт, и только потом появляется капитан и берет командование – ведь рейсы обычно столь продолжительны, а побывки на берегу так кратковременны, что капитан, если у него есть семья или какое-нибудь серьезное дело, совершенно не интересуется своим стоящим в порту кораблем, предоставляя его заботам судовладельцев, покуда не будет все готово для нового плавания. Но все-таки не мешает взглянуть на капитана, прежде чем отдавать себя безвозвратно в его руки. Я повернул назад и, окликнув капитана Фалека, спросил, где мне найти капитана Ахава.

– А на что тебе капитан Ахав? Бумаги в порядке. Ты зачислен.

– Да, но мне хотелось бы на него посмотреть.

– Вряд ли это тебе сейчас удастся. Я сам не знаю толком, что там с ним такое, но только он все время безвыходно сидит дома. Наверное, болен, хотя с виду не скажешь. Собственно, он не болен; но нет, здоровым его тоже назвать нельзя. Во всяком случае, юноша, он и меня-то не всегда желает видеть, так что не думаю, чтобы он захотел встретиться с тобой. Он странный человек, этот капитан Ахав, так некоторые считают, странный, но хороший. Да ты не бойся: он тебе очень понравится. Это благородный, хотя и не благочестивый, не набожный, но Божий человек, капитан Ахав; он мало говорит, но уж когда он говорит, то его стоит послушать. Заметь, я предупредил тебя: Ахав человек незаурядный; Ахав побывал в колледжах, он побывал и среди каннибалов; ему известны тайны глубже, чем воды морские; он поражал молниеносной острогой врага могущественнее и загадочнее, чем какой-то там кит. О, эта острога! Пронзительнейшая и вернейшая на всем нашем острове! Да, он – это не капитан Вилдад и не капитан Фалек; он – Ахав, мой мальчик, а как ты знаешь, Ахав издревле был венценосным царем!

– И притом весьма нечестивым. Когда этот преступный царь был убит, его кровь лизали собаки, верно?

– Подойди-ка сюда поближе, ближе, ближе, – проговорил Фалек с такой значительностью, что мне даже страшно стало. – Послушай, парень, никогда не говори таких вещей на борту «Пекода». И нигде не говори. Капитан Ахав не сам выбрал себе имя. Это был глупый, нелепый каприз его помешанной овдовевшей матери, которая умерла, когда он был годовалым младенцем. Правда, старая скво Тистиг в Гейхеде говорила, что это имя еще окажется пророческим. И, может быть, другие глупцы повторят тебе то же самое. Но я хочу предупредить тебя. Это – ложь. Я хорошо знаю капитана Ахава, я много лет плавал у него помощником, и я знаю, каков он в действительности – хороший человек, не богобоязненный хороший человек, вроде Вилдада, а богохульствующий хороший человек, скорее вроде меня, только в нем еще есть многое сверх этого. Да, я знаю, он никогда не отличался особой веселостью, и знаю, что последний раз на обратном пути он некоторое время был не в своем уме, но всякому ясно, что это было вызвано мучительной, острой болью в кровоточащем обручке. Знаю также, что с того самого дня, как он потерял в последнем рейсе ногу из-за этого проклятого кита, он все время в угрюмом настроении, отчаянно угрюмом, а порой и в бешенстве; но это пройдет. И раз навсегда скажу тебе, юноша, и ты можешь мне поверить, что лучше плавать с угрюмым хорошим

капитаном, чем с капитаном веселым и плохим. А теперь прощай и не будь несправедливым к капитану Ахаву из-за того, что у него дурное имя. К тому же, мой мальчик, у него есть жена, – вот уже три рейса, как он на ней женился, – добрая, безропотная юная женщина. Подумай, от этой юной женщины у него есть ребенок – как по-твоему, может ли старый Ахав быть до конца безнадежно дурным? Нет, нет, мой друг, Ахав изувечен, изломан, но и ему не чужда человечность!

Я уходил, погруженный в задумчивость. То, что по воле случая открылось мне про капитана Ахава, наполнило меня какой-то беспокойной, смутной болью. Я чувствовал к нему сострадание и жалость, но за что именно, не знаю, разве только за то, что он был жестоко изувечен. В то же время я испытывал к нему и необъяснимое чувство страха; но чувство это, описать которое я никак не сумею, было, собственно, не страхом, а чем-то иным, я даже сам не знаю чем. Так или иначе, но я его испытывал, и оно не вызывало у меня к нему никакой враждебности, хотя меня и раздражала слегка связанная с этим человеком таинственность, которую я ощутил, как ни мало мне было о нем тогда известно. Однако постепенно мысли мои устремились в других направлениях, и темный образ Ахава на время покинул меня.

Глава XVII

Рамадан

Квикегов Рамадан, или Великий День Поста и Смирения, должен был кончиться только к ночи, и я решил, что не стоит его покамест беспокоить; ибо я питаю глубочайшее уважение ко всяким религиозным отправлениям, как бы смехотворны они ни казались, и я никогда бы не смог отнестись без должного почтения даже к сборищу муравьев, кладущих поклоны перед мухомором; или к тем существам в некоторых уголках нашей планеты, которые с подобострастием, не имеющим равного на других мирах, поклоняются изваянию какого-нибудь скончавшегося землевладельца потому только, что его огромными богатствами все еще распоряжаются от его имени.

Я считаю, что нам, набожным христианам, возросшим в лоне пресвитерианской церкви, следует быть милосерднее в таких делах и не воображать себя настолько уж выше всех других смертных, язычников и прочих, если им свойственны в этой области кое-какие полубезумные представления. Вот хоть Квикег, например, безусловно придерживается самых нелепых заблуждений относительно Йоджо и Рамадана – ну и что же из того? Квикег, надо полагать, знает, что он делает, он удовлетворен и пусть себе остается при своих убеждениях. Все мои споры с ним ни к чему бы не привели, пусть же он будет и впредь самым собой, говорю я, и да смилуются небеса над всеми нами – и пресвитерианцами, и язычниками, ибо у всех у нас, в общем-то, мозги сильно не в порядке и нуждаются в капитальном ремонте.

Под вечер, когда, по моим представлениям, все его ритуалы и церемонии должны были завершиться, я поднялся наверх и постучался. Ответа не последовало. Я толкнул дверь, но она оказалась заперта изнутри. «Квикег!» – шепотом позвал я через замочную скважину. Молчание. «Квикег, послушай! Отчего ты не отвечаешь? Это я, Измаил». Но все по-прежнему было тихо. Я начал тревожиться. Ведь я дал ему такую пропасть времени – уж не случился ли с ним апоплексический удар? Я заглянул в замочную скважину, но дверь находилась в дальнем углу комнаты и вид через замочную скважину открывался искривленный и зловещий. Видна была только спинка кровати и часть стены, а больше ровным счетом ничего. Но я с удивлением заметил, что к стене прислонена деревянная рукоятка Квикегова гарпуна, который был у нас изъят хозяйкой накануне вечером, когда мы поднимались к себе. Странно, подумал я, но, по крайней мере, раз гарпун стоит там, а Квикег без своего гарпуна никогда за порог не ступит, значит, и сам он определенно находится внутри.

– Квикег! Квикег! – Тишина. Не иначе как что-нибудь случилось. Апоплексический удар! Я попытался высадить дверь, но она упрямо не поддавалась. Я поспешно сбежал вниз по лестнице и тут же высказал все мои подозрения первому, кто мне подвернулся, а это была горничная.

– Ай-яй-яй! – закричала она. – Так я и знала, что случилась беда. Я хотела после завтрака войти убрать постель, а дверь-то заперта. И тихо – мышь не заскребется. С самого утра – ни звука. Я думала, может, вы оба ушли и замкнули дверь, чтобы вещи целы были. Ох! Ах! Хозяйка! Убийство! Миссис Хази! Удар!

И она с воплями бросилась на кухню, а я поспешил за ней. Тут же, с горчицей в одной руке и уксусницей в другой, появилась и миссис Фурия, оторвавшись на время от приготовления приправ и одновременной проборки чернокожего мальчишки-посыльного.

– Где у вас сарай? – орал я. – Сарай где? Сбегайте туда и принесите что-нибудь, чтобы взломать дверь, – топор! Топор! С ним случился удар, уверяю вас!

Говоря все это, я в то же время с пустыми руками опять бессмысленно мчался вверх по лестнице, но тут мне преградила дорогу хозяйка, выставив вперед горчицу и уксус, а заодно и свою не менее кислую физиономию.

– В чем дело, молодой человек?

– Дайте мне топор! Бога ради, кто-нибудь бегите за доктором, пока я буду взламывать дверь!

– Послушайте, – проговорила миссис Фурия, поспешно ставя на ступеньку уксусницу, чтобы освободить хотя бы одну руку. – Послушайте-ка, уж не в моем ли это доме вы собираетесь взламывать дверь? – И она схватила меня за руку повыше локтя. – В чем дело, а? Что случилось, приятель?

По возможности спокойно, но быстро я обрисовал ей положение вещей. В растерянности прижав горчичницу сбоку к носу, она размышляла несколько мгновений, затем, воскликнув: «Да, да! Я как оставила его там, так больше и не видела!» – побежала к чуланчику под лестницей, заглянула туда и, возвратившись, сообщила, что Квикегова гарпуна на месте нет.

– Он зарезался! – провозгласила она. – Вся история с несчастным Стигзом повторяется сначала... Еще одному одеялу конец... Бедная, бедная его мать!.. Эдак все мое заведение погибнет. Остались ли у бедняги сестры?.. Где же эта девчонка? Послушай, Бетти, ступай к маляру Снарлсу и скажи, чтобы он написал для меня объявление: «Здесь самоубийства запрещены и в гостиной не курить» – так можно сразу убить двух зайцев... Убить?.. Боже, смилуйся над его душой! Что там за шум? Эй, молодой человек, ну-ка отойдите оттуда!

При этих словах она взбежала вслед за мною по лестнице и вцепилась в меня, как раз когда я предпринял новую попытку силой открыть дверь.

– Этого я не позволю! Я не допущу, чтобы ломали мой дом. Можете сбежать за слесарем, тут есть один, он живет не дальше мили отсюда. Но нет, постойте-ка, – и она запустила руку в свой боковой карман. – Кажется, этот ключ сюда подойдет. А ну-ка посмотрим.

Она вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Но увы! – оставался еще засов, наложенный Квикегом изнутри.

– Придется все-таки ее выломать, – заявил я и уже отошел немного, чтоб лучше разбежаться, но хозяйка опять за меня уцепилась и снова стала кричать, что не позволит ломать свой дом. Я вырвался и с разбегу что было силы всем телом навалился на дверь.

Дверь с чудовищным грохотом распахнулась, угодив со всего маху ручкой в стену и вздымая к потолку облака раскрошенной штукатурки; и тут, святой боже, мы увидели Квикега – живой и невредимый, он в полной невозмутимости сидел на корточках посреди комнаты, а на макушке у него стоял Йоджо. Квикег даже глазом не моргнул, он сидел, словно изваяние, не проявляя ни малейших признаков жизни.

– Квикег, – заговорил я, подойдя к нему. – Квикег, что с тобой?

– Неужто ж он просидел так целый день? – ужаснулась хозяйка.

Но что бы мы ни спрашивали – из него мы не сумели вытянуть ни слова. Я уже прямо готов был столкнуть его на пол, чтобы только как-нибудь изменить его позу – настолько невыносимо напряженной и мучительно неестественной она казалась, в особенности если подумаешь, что он так просидел, наверное, часов восемь-десять кряду, а то и больше, и при этом, конечно, еще ничего не ел.

– Миссис Хази, – сказал я. – Во всяком случае, мы убедились, что он жив. Так что вы уж нас теперь, пожалуйста, оставьте, а я в этом странном деле разберусь сам.

Закрыв за хозяйкой дверь, я попытался уговорить Квикега, чтобы он сел на стул, но тщетно. Он застыл у моих ног и, несмотря на всю мою учтивость и лесть, даже бровью не повел, не произнес ни слова и даже не взглянул ни разу в мою сторону, ничем не показывая, что заметил хотя бы самое мое присутствие.

Ну что ж, подумал я, вероятно, во время Рамадана так и надо. Может, у него на острове все так постятся – на корточках. Вполне возможно. Да, должно быть, это и вправду полагается по его религии, а раз так, то пусть себе сидит. Рано или поздно он, конечно, встанет. Слава

богу, до бесконечности это продолжаться не может, а Рамадан у него бывает только раз в году, да и то не очень регулярно.

Я спустился к ужину. Вдоволь наслушавшись за этот долгий вечер длинных историй, которые рассказывали моряки, только что возвратившиеся из «кисельного» плавания (так называли они короткий промысловый рейс на шхуне или бриге, ограниченный водами Северной Атлантики); просидев в обществе этих «кисельщиков» чуть ли не до одиннадцати часов, я вновь поднялся к себе в полной уверенности, что Квикег к этому времени уже довел, конечно, свой Рамадан до конца. Но не тут-то было: он по-прежнему сидел там, где я его оставил, не сдвинувшись ни на дюйм. Мне даже досадно на него стало: надо же так глупо, так бессмысленно целый день и половину ночи просидеть на корточках в холодной комнате, держа на голове какую-то деревяшку.

– Бога ради, Квикег, вставай, встряхнись немножко. Вставай и пойди поужинай. Ты так с голоду умрешь. Ты уморишь себя, Квикег!

В ответ – ни слова.

Тогда я решил махнуть на него рукой и лечь спать; а он, без сомнения, немного погодя и сам последует моему примеру. Но перед тем как забраться в постель, я взял свой косматый бушлат и набросил ему на плечи, потому что ночь обещала быть отменно морозной, а на нем была только легкая куртка. Но как я ни старался, мне долгое время не удавалось даже задремать немного. Свечу я задул, но как только вспомню, что он сидит тут в этой неудобной позе, футах в четырех от кровати, не дальше, один-единешенек, в холоде и темноте, на душе у меня становится тошно. Подумать только – спать в одной комнате с язычником, который всю ночь не смыкая глаз сидит на корточках, блюдя свой жуткий, загадочный Рамадан.

Наконец я все-таки забылся сном и больше уже ничего не сознавал до самого рассвета; когда, открыв глаза, я посмотрел вниз – там сидел Квикег все в той же скрюченной позе, словно привинченный болтами к полу. Но только первые проблески солнечного света проникли через окно, как он тут же вскочил, громко скрежеща онемевшими суставами, но с видом вполне жизнерадостным, кое-как доковылял до кровати и, опять прижавши свой лоб к моему, сообщил, что его Рамадан окончен.

Как я уже говорил прежде, я готов с полной терпимостью относиться к религии каждого человека, какова бы она ни была, при условии только, что этот человек не убивает и не оскорбляет других за то, что они веруют иначе. Но если чья-то религия доходит просто до изуверства, если она становится для верующего пыткой, одним словом, если она превращает нашу планету в крайне некомфортабельный постоянный двор, тогда последователя подобной религии надлежит, на мой взгляд, отвести в сторонку и поговорить с ним на эту тему по душам. Именно это я и намерен был теперь проделать с Квикегом.

– Квикег, – произнес я, – полезай-ка в постель и слушай, что я тебе скажу.

И я принялся за дело, начав с возникновения и развития первобытных верований и дойдя до разнообразных религий нашего времени, неизменно стараясь показать Квикегу, что все эти Великие Посты, Рамаданы и длительные сидения на корточках в нетопленных мрачных помещениях – просто полная бессмыслица: для здоровья вредны, для души бесполезны, иными словами, противоречат элементарным законам гигиены и здравого смысла. И еще я сказал ему, что мне просто больно, ужасно больно видеть, как он, во всех других отношениях чрезвычайно рассудительный и разумный дикарь, так досадно глупо ведет себя с этим своим нелепым Рамаданом. К тому же, убеждал я его, от поста тело слабеет, а стало быть, слабеет и дух, и все мысли, возникшие постом, обязательно бывают худосочные. Недаром же те верующие, кто особенно страдает от несварения желудка, придерживаются самых унылых убеждений относительно того, что ожидает их за могилой. Одним словом, Квикег, говорил я, несколько уклонившись от избранной темы, идея ада впервые зародилась у человека, когда он объелся яблоками, а

затем была увековечена наследственным расстройством пищеварения, поддерживаемым Рамаданами.

Тут я спросил Квикега, страдал ли он когда-либо расстройством пищеварения, стараясь объяснить свою мысль по возможности нагляднее, чтоб он мог понять, что я имею в виду. Он ответил, что нет, разве только один раз и по весьма знаменательному поводу. Это произошло с ним после великого пиршества, которое устроил его отец по случаю великой победы, когда в сражении было убито к двум часам пополудни пятьдесят вражеских воинов, и в ту же ночь они все были сварены и съедены.

– Довольно, довольно, Квикег, – прервал я его, содрогаясь. – Замолчи.

Ибо я и без него представлял себе, чем это должно было кончиться. Я знал когда-то одного матроса, который побывал на этом самом острове, и он рассказывал мне, что у них там существует такой обычай: выиграв большую битву, победитель целиком изжаривает у себя во дворе или в саду каждого убитого, а потом одного за другим укладывает их на большие деревянные блюда, красиво обложив, словно пилав, плодами хлебного дерева и кокосовыми орехами и засунув им в рот по пучку петрушки, и посылает с наилучшими пожеланиями своим друзьям, как если бы то были просто рождественские индейки.

В целом, я не могу сказать, чтобы мои замечания насчет религии произвели на Квикега большое впечатление. Во-первых, он как-то не проявил интереса к рассуждениям на столь важные темы, ведущимся с точки зрения, отличной от его собственной; а во-вторых, он и понимал-то меня не более чем на одну треть, как ни примитивно формулировал я свои мысли, и в довершение всего он, безусловно, считал, что разбирается в истинной религии гораздо лучше, чем я. Он глядел на меня с каким-то снисходительным участием и сочувствием, будто очень сожалел, что такой рассудительный молодой человек столь безнадежно потерян для святого языческого благочестия.

Наконец мы поднялись с кровати и оделись. Квикег с аппетитом проглотил чудовищный завтрак, состоящий из всевозможных сортов отварной рыбы – так что большой выгоды от его Рамадана хозяйка все равно не получила, – и мы отправились на «Пекод», неторопливо вышагивая по дороге и ковыряя в зубах костями палтуса.

Глава XVIII

Вместо подписи

Мы только еще шли по пристани к борту судна, я и Квикег со своим гарпуном, когда нас окликнул из вигвама хриплый голос капитана Фалека, который громко выразил удивление по поводу того, что мой товарищ оказался каннибалом, и тут же провозгласил, что не допускает на это судно каннибалов, пока они не предъявят свои бумаги.

– Не предъявят чего, капитан Фалек? – переспросил я, прыгнув через фальшборт и оставив своего друга внизу на пристани.

– Бумаги, – ответил он. – Пусть покажет бумаги.

– Да, да, – глухим голосом подтвердил капитан Вилдад, высунув вслед за Фалеком голову из вигвама. – Пусть докажет, что он обращенный. Сын тьмы! – повернулся он в сторону Квикега. – Состоишь ли ты в настоящее время в лоне какой-либо христианской церкви?

– А как же, – ответил я, – он принадлежит к первой конгрегационалистской церкви.

Тут следует заметить, что многие татуированные дикари, плавающие на нантакетских судах, кончают тем, что обращаются и попадают в лоно какой-либо из церквей.

– Как! Первая конгрегационалистская церковь? – воскликнул Вилдад. – Это те, которые собираются в доме у диакона Девтерономии Колмена? – И он вытащил из кармана очки, протер их большим желтым носовым платком, с особой осторожностью водрузил на нос, вышел из вигвама и, с трудом перегнувшись через фальшборт, долго и пристально разглядывал Квикега.

– Давно ли он стал членом этой общины? – спросил капитан наконец, обернувшись ко мне. – Не слишком-то давно, я полагаю, а, молодой человек?

– Разумеется, недавно, – поддержал его Фалек. – И крещение он получил не настоящее, иначе бы оно смыло у него с лица хоть немного этой дьявольской синевы.

– Нет, ты скажи, молодой человек, – сказал Вилдад. – Неужели этот филистимлянин регулярно посещает собрания диакона Девтерономии? Что-то я его там ни разу не видел, а я хожу мимо каждое воскресенье.

– Мне ничего не известно о диаконе Девтерономии и его собраниях, – сказал я. – Знаю только, что Квикег рожден в лоне первой конгрегационалистской церкви. Да он сам диакон, вот этот самый Квикег.

– Молодой человек, – строго проговорил Вилдад, – напрасно ты шутишь этим. Объясни свои слова, ты, юный хеттеянин. Отвечай мне, о какой это церкви ты говорил?

Почувствовав, что меня прижали к стенке, я ответил:

– Сэр, я говорил о той древней католической церкви, к которой принадлежим мы все – и вы, и я, и капитан Фалек, и Квикег, и всякий сын человеческий; о великой и вечной Первой Конгрегации всего верующего мира; все мы принадлежим к ней; правда, иных среди нас слишком волнуют сейчас разные мелочи великой веры, но сама она связывает нас всех воедино.

– Верно! Морским узлом! – вскричал Фалек, шагнув мне навстречу. – Юноша, тебе бы следовало поступить к нам миссионером, а не матросом. В жизни не слыхивал я проповеди лучше! Диакон Девтерономия, да чего там, сам отец Мэппл никогда не сможет тебя переплюнуть, а уж он-то чего-нибудь да стоит. Полезайте, полезайте сюда, и к чертям все бумаги. Эй, скажи ты этому Квебеку, – или как там ты его зовешь, – скажи Квебеку, чтобы шел сюда. Ого, клянусь большим якорем, ну и гарпун же у него! Неплохая вещь, как я погляжу, и обращается он с ним умело. Послушай, как тебя, Квебек, приходилось тебе когда-нибудь стоять на носу вельбота? Случалось уже бить китов, а?

Не отвечая ни слова на свой дикарский манер, Квикег вскочил на фальшборт, оттуда прыгнул на нос подвешенного за бортом вельбота и, выставив вперед левое колено и занеся над головой гарпун, выкрикнул нечто подобное нижеследующему:

– Капитан! Видела капля деготь там на вода? Видела? Пускай это у кита глаз, а ну-ка! – Прицелившись хорошенько, он метнул гарпун, и тот, просвистев возле самой шляпы старого Вилдада, перелетел над палубой корабля и разбил на бесчисленное множество осколков маленькое блестящее пятнышко. – Вот, – спокойно заключил Квикег, выбирая линь. – Пускай это у кита глаз, твоя кит уже мертвый.

– А ну быстро, Вилдад, – сказал Фалек своему компаньону, который, перепуганный непосредственной близостью пролетевшего гарпуна, удалился к порогу капитанской каюты. – Быстрее, говорю, Вилдад, доставай корабельные книги. Этого Любека, то есть Квебека, мы должны заполучить на один из наших вельботов. Слушай, Квебек, мы тебе даем девяностую долю, а столько еще не получал в Нантакете ни один гарпунщик.

Мы спустились в каюту, и Квикег, к великой моей радости, был вскоре занесен в списки той же самой команды, в какой уже числился и я.

Когда все формальности были завершены и оставалось поставить подпись, Фалек обернулся ко мне и сказал:

– Надо думать, твой Квебек писать не умеет, так, что ли? Эй, Квебек, чтоб тебя! Ты будешь подписывать свое имя или крест поставишь?

При этом вопросе Квикег, которому и прежде уже приходилось раза два-три принимать участие в подобных процедурах, видимо, ничуть не растерялся, но, взяв протянутое перо, изобразил на бумаге точную копию некоего загадочного округлого знака, вытатуированного у него на руке; так что благодаря упорству Фалека касательно Квикегова прозвища все это получило такой определенный вид:

Квебек
вместо ∞ подписи

Тем временем капитан Вилдад сидел, не спуская глаз с Квикега, а затем торжественно поднялся и, порывшись в огромных карманах своего широкополого коричневого сюртука, извлек оттуда целую пачку брошюр; выбрав одну из них, озаглавленную «Последний день наступает, или Не теряйте времени», вложил ее в руки Квикегу, а потом схватил их вместе с книгой обеими своими руками, пристально посмотрел ему в глаза и проговорил:

– Сын тьмы, я обязан выполнить мой долг по отношению к тебе. Это судно отчасти принадлежит мне, и я не могу не заботиться об его экипаже. Ежели ты все еще придержишься своих языческих обычаев – а я очень опасаюсь, что это так, – то заклинаю тебя, не оставайся вечно рабом Вила. Отринь идола Вила и мерзкого змия, беги грядущего гнева. Гляди в оба, говорю тебе. О, во имя милосердного Бога! Правь прочь от огненной бездны!

В речи старого Вилдада еще сохранились отзвуки моряцкой жизни, причудливо перемешанные с библейскими и местными выражениями.

– Ступай, ступай, Вилдад, нечего тебе портить нашего гарпунщика, – вмешался Фалек. – Набожные гарпунщики никуда не годятся. У них от этого пропадает вся хватка. А что проку в гарпунщике, если у него нет хватки? Помнишь, какой был гарпунщик молодой Нат Свейн? На всем Нантакете и Вайньянде не было храбрее. Но он стал посещать моления, и дело кончилось худо. Он до того боялся за свою ничтожную душу, что начал обходить и сторониться китов из опасения, как бы они не задела хвостом его вельбот и не пришлось бы ему отправиться к черту в пекло.

– Фалек, Фалек, – проговорил Вилдад, возводя очи и руки к небесам. – Ведь и ты сам, как и я, изведаль немало опасностей. Ведь ты знаешь, Фалек, что означает страх смерти. Как же можешь ты прибегать к столь нечестивому пустословию? Не возводи на себя напраслину, скажи положи руку на сердце, Фалек, разве тогда, у берегов Японии, когда вот этот самый «Пекод» потерял в тайфуне все три мачты, – помнишь, ты как раз плывал помощником у Ахава? – разве не думал ты тогда о смерти и Божьей каре?

– Вы только послушайте его! – вскричал Фалек и зашагал по тесной каюте, глубоко засунув руки в карманы. – Все слышали, а? Подумать только! Ведь судно каждую минуту могло пойти ко дну! Что же, думать о смерти и Божьей каре? Когда все наши три мачты с таким адским грохотом колотились о борт, а зыбь разбивалась над нами, и с кормы, и с носа! Думать в это время о смерти и Божьей каре? Нет, некогда нам было думать о смерти. Жизнь – вот о чем мы думали с капитаном Ахавом. Как спасти команду, как поставить новые мачты, как добраться до ближайшего порта – вот о чем я тогда думал.

Вилдад промолчал; он застегнул на все пуговицы сюртук и гордо прошествовал на палубу, и мы последовали за ним. Здесь он остановился и стал спокойно наблюдать за работой парусных мастеров, которые на шкафуте чинили грот-марсель. Время от времени он нагибался и подбирал обрезок парусины или просмоленной бечевки, чтоб они, не дай бог, не пропали зря.

Глава XIX

Пророк

– Братья, вы нанялись на этот корабль?

Мы с Квикегом только что покинули «Пекод» и медленно шли по набережной, каждый погруженный в собственные мысли, когда какой-то незнакомец обратился к нам с этими словами, остановившись прямо перед нами и наведя свой толстый указательный палец на корпус упомянутого судна. Человек этот был облачен в крайне ветхий, выцветший бушлат и заплатанные брюки, а шею его украшал обрывок черного платка. Сливная оспа пролилась по его лицу во всех мыслимых направлениях, и теперь оно напоминало замысловато изборожденное русло пересохшего потока.

– Вы нанялись туда? – повторил он свой вопрос.

– Вы имеете в виду судно «Пекод», полагаю? – переспросил я, стараясь выиграть немного времени, чтобы получше его рассмотреть.

– О да, именно «Пекод», вот тот корабль, – подтвердил он, отведя руку назад, а затем стремительно выбросив ее перед собой, так что вытянутый палец, точно штык, вонзился в цель.

– Да, – ответил я, – мы только что подписали там бумаги.

– Оговорено ли в бумагах что-нибудь касательно ваших душ?

– Касательно чего?

– А, у вас их, вероятно, нет, – быстро проговорил он. – В конце концов это не так уж важно. Я знаю многих, у кого нет души, – им просто повезло. Душа – это вроде пятого колеса у телеги.

– О чем ты бормочешь, приятель? – удивился я.

– Но *он* имеет избыток, которого станет на то, чтоб покрыть недостаток у всех других, – неожиданно заключил незнакомец, делая особое, тревожное ударение на слове «он».

– Пошли, Квикег, – сказал я, – этот тип, видно, сбежал откуда-то. Он говорит о ком-то и о чем-то, нам с тобою неизвестном.

– Стойте! – вскричал незнакомец. – Вы правы – ведь вы еще не видели Старого Громобоя, верно?

– Кто это Старый Громобой? – спросил я, остановленный значительностью его безумного тона.

– Капитан Ахав.

– Что? Капитан нашего корабля? Капитан «Пекода»?

– Да, многие из нас, старых моряков, называют его этим именем. Ведь вы его еще не видели, верно?

– Пока нет. Говорят, он был болен, но теперь поправляется и скоро уже будет совсем здоров.

– Совсем здоров, а? – повторил незнакомец с каким-то торжествующе горьким смехом. – Капитан Ахав будет здоров тогда, когда опять будет здорова моя левая рука, не раньше, слышите?

– А что вам о нем известно?

– А что вам о нем рассказали?

– Да они ничего почти не рассказывали; я слышал только, что он хороший китобой и хороший капитан для своих матросов.

– Верно, все это так – и то и другое верно. Но когда он приказывает, тут уж приходится поворачиваться. Ворчи не ворчи, вой не вой, а слово Ахава – закон. Но о том, что случилось с ним когда-то у мыса Горн, когда он три дня и три ночи пролежал, как мертвый; о смертельной схватке с Испанцем пред алтарем в Санта – обо всем этом вы ничего не слыхали? А о сереб-

ряной фляге, в которую он плюнул? И о том, как в последнем рейсе он потерял левую ногу во исполнение пророчества? Неужели вы ничего не слышали обо всем этом, об этом и еще кое о чем? Ну конечно, вы об этом не слыхали, откуда же вам знать? Кто вообще знает об этом, даже у нас в Нантакете? Однако о том, как потерял он ногу, вы, может статься, все же слыхали? Да, да, вижу, об этом вам говорили? Да и кто об этом здесь не знает? То есть о том, что у него теперь только одна нога и что другую он потерял в стычке с кашалотом?

– Друг мой, – остановил я его, – что вы тут такое плетете, я не знаю да и знать не хочу, потому что, сдается мне, у вас вроде бы в голове не все в порядке. Но если вы имеете в виду капитана Ахава, капитана вон того корабля «Пекода», тогда позвольте сообщить вам, что относительно его ноги мне известно все.

– *Все* известно, говорите вы? И вы в этом уверены, а?

– Абсолютно уверен.

Еще мгновение незнакомец стоял неподвижно, погруженный в тревожную задумчивость, вытянув палец и устремив взгляд на корпус «Пекода», потом чуть заметно вздрогнул и сказал:

– Вы ведь уже зачислены, верно? Имена ваши значатся в списках? Ну что ж, что написано, то написано, а чему быть, того не миновать, то и сбудется, а может, и не сбудется все-таки. Во всяком случае, все уже предрешено и расписано заранее. И кому-нибудь из матросов ведь надо с ним идти. Либо этим, либо каким-нибудь еще, Господь да смилуется над ними. Прощайте же, братья, прощайте, небеса неизреченные да благословят вас. Извините, что задержал вас.

– Послушайте, друг, – сказал я, – если вы можете сообщить нам что-нибудь важное, то выкладывайте, но если вам просто вздумалось нас поморочить и запугать, то вы обратились не по адресу. Вот все, что я хотел сказать.

– И сказано неплохо, очень неплохо, я люблю, когда говорят так складно. Вы ему отлично подойдете, вот такие люди, как вы. Прощайте же, братья. Да, вот еще: когда вы туда попадете, передайте им, что я почел за лучшее к ним не присоединяться.

– Ну нет, дорогой мой, вам нас так не одурачить, не думайте. Ведь сделать вид, что тебе известна великая тайна, – это легче легкого.

– Прощайте, братья, прощайте.

– Прощайте, – ответил я. – Пошли, Квикег, уйдем от этого сумасшедшего. Впрочем, постоит, скажите-ка мне, пожалуйста, как вас зовут?

– Илия.

Илия, мысленно повторил я, и мы зашагали прочь, обсуждая каждый на свой лад этого старого оборванного матроса; под конец мы оба сошлись на том, что он всего лишь мелкий мошенник, хоть и корчит из себя великое пугало. Но не прошли мы и ста ярдов, как я, заворачивая за угол, случайно оглянулся и увидел все того же самого Илию, который следовал за нами на некотором расстоянии. Это почему-то настолько меня взволновало, что я не сказал Квикегу ни слова, но продолжал идти, горя нетерпением узнать, свернет ли и незнакомец за тот же угол. Он свернул, и тогда я подумал, что он, наверное, преследует нас, хотя с какой целью, я просто представить себе не мог. Обстоятельство это в сочетании с его двусмысленной, таинственной речью, изобилующей полунамеками, полуразоблачениями, породило у меня в душе всевозможные смутные недоумения и полупредчувствия, каким-то образом связанные с «Пекодом», с капитаном Ахавом, с его левой ногой, с его припадком у мыса Горн, с серебряной флягой, с тем, что сказал мне о нем накануне, когда я уходил, капитан Фалек, с пророчеством скво Тистиг, с плаванием, которое нам предстояло, и с тысячей других туманных вещей.

Я решил во что бы то ни стало выяснить, действительно ли этот оборванец Илия преследует нас, перешел с Квикегом на другую сторону улицы и зашагал в обратном направлении. Но Илия прошел мимо, видимо, вовсе нас и не заметив. Я почувствовал облегчение и еще раз, теперь уже, как думалось мне, окончательно, заключил про себя, что он всего лишь мелкий мошенник.

Глава XX

Все в движении

Миновало дня два, и на борту «Пекода» все пришло в движение. Теперь уже не только чинили старые паруса, но и привозили новые вместе с рулонами парусины и бухтами канатов, – одним словом, все говорило о том, что работы по снаряжению судна спешно подходят к концу. Капитан Фалек совсем не сходил теперь на берег, он целый день сидел в своем вигваме и зорко следил за работой матросов; на берегу всеми сделками и покупками ведал Вилдад, а в трюме и на мачтах люди трудились до поздней ночи.

Назавтра после того, как Квикег подписал бумаги, повсюду, где стояли матросы с «Пекода», было передано, что к ночи все сундуки должны быть доставлены на борт, потому что корабль может отплыть в любую минуту. Поэтому мы с Квикегом переправили на судно свои пожитки, однако сами решили ночевать на берегу до самого отплытия. Но предупреждение, как всегда в таких случаях, было дано загодя, и корабль простоял у пристани еще несколько дней. Да это и не удивительно: ведь нужно было еще так много сделать и о стольких еще вещах надо было позаботиться, прежде чем «Пекод» будет окончательно оснащен.

Всякому известно, какое множество предметов – кровати, сковородки, ножи и вилки, лопаты и клещи, салфетки, щипцы для орехов и прочая, и прочая – необходимы в таком деле, как домашнее хозяйство. То же самое и в китобойном рейсе, когда целых три года нужно вести большое хозяйство в океане, вдали от бакалейщиков, уличных разносчиков, врачей, пекарей и банкиров. Все это, конечно, относится и к торговым судам, но отнюдь не в той же мере, как к судам китобойным. Ибо, помимо длительности рейсов, многочисленности предметов, насущно необходимых для промысла, и невозможности обновлять их запасы в тех дальних портах, куда обычно заходят эти суда, следует также иметь в виду, что из всех кораблей именно китобойцы наиболее подвержены всевозможным опасностям, и в особенности – опасности потерять те самые вещи, от которых зависит успех всего промысла. Поэтому здесь имеются запасные вельботы, запасной рангоут, запасные линии и гарпуны – все на свете запасное, кроме лишнего капитана и резервного корабля.

К моменту нашего прибытия на остров трюмы «Пекода» уже были почти полностью загружены говядиной, хлебом, водой, топливом, железными обручами и бочарной клепкой. Тем не менее, как я уже упоминал, еще несколько дней после этого не прекращался подвоз всевозможных довесков и домерков, как маленьких, так и больших.

Главным лицом среди тех, кто занимался теперь подвозом и погрузкой, была сестра капитана Вилдада, худощавая старая леди с чрезвычайно решительным и неутомимым характером, но при всем том очень добросердечная, твердо решившая, по-видимому, что, насколько это зависело от нее, на «Пекоде» не будет недостатка ни в чем. То она появлялась на борту с банкой солений для корабельной кладовой, то спешила со связкой перьев, чтобы поставить на стол старшему помощнику, где обычно вносились записи в судовой журнал; а то приносила кусок фланели, чтобы согреть чью-нибудь простуженную поясницу. Еще ни одна женщина так не заслуживала своего имени, потому что эту заботливую даму звали Харита, Милосердие, – тетушка Харита, как обращались к ней все. Подобно сестре милосердия, эта милосердная тетушка Харита целый день суетилась вокруг, готовая приложить руку, а также и сердце ко всему тому, что обещало безопасность, удобство и утешение находящимся на борту корабля, с которым связаны были деловые интересы ее возлюбленного братца Вилдада и в который она сама вложила несколько десятков припасенных про черный день долларов.

Но уж совсем потрясающее зрелище являла собой сия выдающаяся квакерша, когда в последний день она поднялась на палубу, держа в одной руке длинный черпак для китового жира, а в другой – еще более длинную китобойную острогу. Сам Вилдад, да и капитан Фалек,

оба они тоже не отставали. Вилдад, например, носил при себе длинный список недостающих предметов, и всякий раз, как прибывала новая партия грузов, он тут же ставил галочку на своей бумажке. Время от времени из костяной берлоги, спотыкаясь, выскакивал Фалек, орал в люки на тех, кто работал внизу, орал вверх на тех, кто налаживал такелаж на мачтах, и в довершение всего, не переставая орать, убирался назад, в свой вигвам.

В эти дни мы с Квикегом часто наведывались на судно, и не менее часто я справлялся о капитане Ахаве, об его здоровье и о том, когда же он приедет на свой корабль. В ответ на все вопросы я слышал, что капитану Ахаву гораздо лучше, что он поправляется и что на корабле его ожидают со дня на день, а что пока капитаны Вилдад и Фалек позаботятся обо всем необходимом для снаряжения судна. Если бы я был до конца честен с самим собой, я бы отчетливо осознал, что в глубине души меня не слишком-то прельщала необходимость отправиться в столь длительное плавание, так и не увидев ни разу человека, которому предстояло стать абсолютным диктатором на корабле, как только мы очутимся в открытом море. Но когда подозреваешь что-нибудь неладное, иной раз случается, если ты уже вовлечен в это дело, что ты бессознательно стараешься скрыть все подозрения даже от себя самого. Я не говорил ни слова и старался ни о чем не думать.

Наконец было передано, что завтра в течение дня мы наверняка отплываем. Поэтому на следующее утро мы с Квикегом чуть свет отправились на пристань.

Глава XXI

Прибытие на борт

Было около шести часов, но серая, туманная заря еще только занималась, когда мы вошли на пристань.

– По-моему, там впереди бегут какие-то матросы, – сказал я Квикегу. – Не тени же это. Видно, мы отплываем с восходом. Пошли скорей!

– Стойте! – раздался голос, принадлежавший человеку, который незаметно подошел к нам сзади, положил каждому руку на плечо и, протиснувшись между нами, стоял теперь, чуть подавшись вперед и переводя с Квикега на меня непонятный, пристальный взгляд. Это был Илия.

– Идете на корабль?

– Эй, вы, руки прочь, слышите? – сказал я.

– Твоя ходи вон, – сказал Квикег, стряхивая с плеча его руку.

– Так вы не на корабль идете?

– Нет, на корабль, – ответил я. – Но вам-то какое дело? Да знаете ли, мистер Илия, что вы, по-моему, изрядный невежа?

– Нет, нет, этого я не знал, – проговорил Илия, медленно и удивленно переводя с меня на Квикега свой непостижимый взор.

– Илия, – сказал я тогда, – вы очень обяжете моего друга и меня, если немедленно удалитесь. Мы отправляемся в Индийский и Тихий океаны и предпочли бы, чтобы нас не задерживали.

– Вот как? А вы вернетесь к завтраку?

– Квикег, он помешанный, – говорю я. – Идем.

– Эге-гей! – окликнул нас Илия, когда мы отошли от него на несколько шагов.

– Не обращай на него внимания, Квикег, идем скорей.

Но он опять незаметно нагнал нас и, неожиданно ударив меня ладонью по плечу, спросил:

– А вам не показалось, будто на судно только что прошли вроде какие-то люди?

Остановленный этим простым и ясным вопросом, я ответил:

– Да, я как будто бы видел четверых или пятерых людей, но очень смутно, так что утверждать не стану.

– Да, очень смутно, очень смутно, – повторил Илия. – Прощайте.

Мы опять расстались с ним, и опять он неслышно нагнал нас и, еще раз тронув меня за плечо, сказал:

– А вот найдете ли вы их теперь, как вы думаете?

– Кого?

– Прощайте же. Прощайте! – повторил он в ответ и зашагал было прочь. – Ах да! Я только собирался предупредить вас... но это не имеет значения, это все одно и то же, дело семейное... сильный мороз сегодня, а? Будьте же здоровы. Мы с вами теперь, наверно, не скоро увидимся, разве только перед Судебными Властями, – и с этими бессмысленными словами он наконец удалился, повергнув меня в немалое недоумение своей неистовой дерзостью.

Когда мы ступили наконец на борт «Пекода», нас встретила глубокая тишина – не слышно и не видно было ни души. Дверь капитанской каюты была заперта изнутри, люки все задраены и завалены сверху бухтами канатов. Мы прошли на бак и здесь увидели один незакрытый люк. Снизу шел свет. Мы спустились, но там нашли только старика такелажника, закутанного в драный матросский бушлат. Он лежал ничком, уткнувшись носом в согнутые руки и во всю длину вытянувшись на двух сдвинутых сундуках. Глубочайший сон сковал его.

– Как ты думаешь, Квикег, куда могли деться те матросы, которых мы видели? – спросил я, в растерянности глядя на спящего.

Но Квикег на пристани ничего не заметил, и теперь я готов был и сам счесть все это оптическим обманом, если бы только не Илия со своим таинственным вопросом. Но я подавил в себе тревожное чувство и, снова указав на спящего, шутливо заметил Квикегу, что нам с ним, пожалуй, лучше всего остаться тут и сторожить тело, так что пусть он устраивается поудобнее. Он положил ладонь спящему на зад, словно испытывая, достаточно ли тут мягко, а затем без лишних слов спокойно уселся сверху.

– Господи! Квикег, не садись так, – сказал я.

– А что? – возразил Квикег. – Совсем удобный место. Моя остров всегда так сидят. А лицо все равно будет целый.

– Лицо! – удивился я. – Ты называешь это лицом! Ну что ж, выражение у него очень благожелательное. Но погляди, как тяжело он дышит, он просто весь вздымается. Слезай скорей, Квикег, ты слишком тяжел, не к лицу тебе так обращаться с лицом бедного человека. Слезай, Квикег! Смотри, он тебя сейчас сбросит. И как это он до сих пор не проснулся?

Квикег слез, устроился на сундуке у самой головы спящего и разжег свой томагавк. Я уселся у старика в ногах. И, наклоняясь над ним, мы стали передавать друг другу трубку. Покуда мы так сидели, Квикег в ответ на мой вопрос рассказал мне на своем ломаном языке, что у него на родине, где совершенно отсутствуют какие бы то ни было диваны и пуфы, цари, вожди и прочие великие люди обыкновенно раскармливают для роли оттоманок представителей низших сословий; так что, желая обставить дом с комфортом, вы можете купить восемьдесят лежбоек и расположить их по своему вкусу в простенках и нишах; да и для прогулок это очень удобно, гораздо удобнее, чем садовый стульчик, который складывается в тросточку, – в случае надобности вождь подзывает к себе слугу и повелевает ему изобразить из своей особы диван где-нибудь под развесистым деревом, растущим, быть может, в сыром болотистом месте.

Каждый раз, когда я передавал Квикегу томагавк, он, не прерывая повествования, взмахивал острым концом над самой головой спящего.

– Для чего это ты делаешь, Квикег?

– Очень просто убивал. О! Очень просто!

И он погрузился в бурные воспоминания, навеянные трубкой-томагавком, которая, как можно было понять, в своей двойственной сущности не только дарила утешение его душе, но и раскраивала черепа его врагов; но тут наше внимание было наконец привлечено к спящему. Густой табачный дым доверху наполнил темное помещение, и это возымело на него свое действие. Сначала он стал дышать как-то особенно тяжело, потом у него, видимо, в носу зашекетало, тогда он перевернулся раза два и наконец сел и протер глаза.

– Эй вы, курильщики, – едва продохнул он. – Вы кто такие?

– Мы из команды, – ответил я. – Когда отплываем?

– Ах вот как! Идете, значит, на «Пекоде»? «Пекод» отплывает сегодня. Ночью капитан приехал.

– Какой капитан? Ахав?

– Ну, а какой же?

Я собирался задать ему еще несколько вопросов относительно Ахава, но в это время на палубе послышался шум.

– Эге, Старбек хозяйничает, – сказал старик. – Боевой у вас старший помощник. Хороший человек и набожный. Но, вижу, все уже проснулись. Пора и мне. – Сказав это, он поднялся на палубу, и мы последовали за ним.

Солнце уже вставало, было совсем светло. Вскоре начал собираться экипаж; матросы прибывали по двое, по трое; такелажники трудились всюду, помощники капитана энергично взялись за дело; разные люди все время подвозили с берега всевозможные последние мелочи.

Один только капитан Ахав по-прежнему оставался невидимым под темными сводами капитанской каюты.

Глава XXII

С Рождеством Христовым!

Наконец к полудню, после того как такелажники покинули корабль и после того как с пристани было послано множество громогласных приветствий, после того как отвалила шлюпка с неизменной заботливой Харитой, которая доставила на борт свой последний дар – ночной колпак для второго помощника Стабба, приходившегося ей зятем, и еще один экземпляр Библии для кока, – после всего этого оба капитана, Фалек и Вилдад, поднялись из капитанской каюты на палубу, и Фалек сказал, обращаясь к старшему помощнику:

– Ну, мистер Старбек, вы все проверили? Капитан Ахав уже готов – мы только что говорили с ним. На берегу ничего не забыли, а? Тогда свистать всех наверх! Пускай выстроятся здесь на шканцах, будь они прокляты!

– Как ни велика спешка, нет нужды в дурных словах, Фалек, – проговорил Вилдад. – Однако живей, друг Старбек, исполни наше приказание.

Ну и ну! Корабль уже отплывает, а капитан Фалек и капитан Вилдад по-прежнему распоряжаются на палубе, точно им и в море, как в порту, предстоит совместное командование. А что до капитана Ахава, так его еще никто в глаза не видел, только сказано было, что он у себя в каюте. Впрочем, ведь для того, чтобы поднять якорь и вывести корабль в открытое море, присутствие капитана вовсе не так уж необходимо. В самом деле, поскольку это входит в обязанности лоцмана, а не капитана, и к тому же капитан Ахав еще не совсем оправился от болезни – как нам объяснили, – вполне разумно, чтобы он оставался внизу. Все это представлялось мне естественным, в особенности же еще потому, что многие капитаны торговых судов тоже имеют обыкновение долго не показываться на палубе, после того как поднят якорь, посвящая все это время веселой прощальной попойке с друзьями, которые затем покидают корабль вместе с лоцманом.

Но поразмыслить об этом как следует не представлялось теперь никакой возможности, потому что капитан Фалек взялся за дело всерьез. Командовал и говорил по большей части он, а не Вилдад.

– Все на ют, вы, ублюдки! – орал он на матросов, замешкавшихся у грот-мачты. – Мистер Старбек, гоните их на ют.

– Убрать палатку! – таков был следующий приказ. Как я уже говорил, шатер из китового уса разбивался на «Пекоде» только на время стоянок, и вот уже тридцать лет, как на борту «Пекода» известно было, что приказание убрать палатку непосредственно предшествует команде поднимать якорь.

– Людей к шпилью! Кровь и гром! Живо! – последовал приказ, и матросы кинулись к вымбовкам ворота.

При подъеме якоря лоцману полагается стоять на носу. И вот Вилдад, который, да будет всем известно, в дополнение к прочим своим должностям значился еще портовым лоцманом, – причем высказывались предположения, что он приобрел это звание только для экономии, чтобы не нанимать нантакетских лоцманов для своих судов, поскольку чужие корабли он не проводил никогда, – так вот, этот самый Вилдад свесился теперь за борт, внимательно высматривая приближающийся якорь и время от времени подбадривая унылым прерывистым псалмопением матросов у шпилья, которые в ответ ему подхватывали во всю глотку громогласный припев про красоток с Бубл-Эллей. А ведь всего только три дня тому назад Вилдад говорил, что не допустит непристойных песен на борту «Пекода», тем более при подъеме якоря; а его сестра Харита положила в койку каждому члену экипажа по новенькой книжечке гимнов Уоттса.

Фалек тем временем распоряжался на палубе, ругаясь и божась самым отчаянным образом. Я уж думал, он сейчас потопит судно, не успеем мы якорь поднять. Поэтому я, понятно, выпустил вымбровку, сказав Квикегу, чтоб он последовал моему примеру, ведь подумать только, каким опасностям предстояло подвергнуться нам, начинавшим плавание под водительством столь буйного командира. Единственная надежда, утешал я себя, что, может быть, спасение придет от благочестивого Вилдада, хоть это он придумал семьсот семьдесят седьмую долю; но тут я почувствовал внезапный резкий толчок пониже спины и, обернувшись, содрогнулся от страшного видения: капитан Фалек в этот самый момент как раз опускал ногу, выводя ее из непосредственной близости с моей особой. Это был первый в моей жизни пинок в зад.

– Так вот, оказывается, как ходят на шпиге на купеческих судах! – взревел он. – А ну, поворачивайся, ты, баранья башка! Поворачивайся, чтоб кости трещали! Эй вы все, вы чего, спите, что ли? Сказано вам: поворачивайтесь! Поворачивайся, Квебек! Ты, рыжий, поворачивайся, шотландский колпак! Поворачивайся, зеленые штаны! Давай, давай, поворачивайтесь, все вы, живей, глаза ваши на лоб!

При этом он метался вокруг шпиги, то тут, то там весьма свободно пуская в ход ногу, а на носу невозмутимый Вилдад продолжал выводить свои псалмы. Да, думаю я, видно, капитан Фалек сегодня хлебнул лишку.

Наконец якорь был поднят, паруса поставлены, и мы заскользили прочь от берега. Был холодный, короткий день Святого Рождества; и когда скудный северный дневной свет незаметно сменился ночной тьмой, мы оказались затерянными в студеном океане, чьи смерзшиеся брызги скоро одели нас льдом, словно сверкающими латами. В лунном свете мерцали вдоль борта длинные ряды китовых зубов и, словно белые бивни исполинского слона, свешивались на носу гигантские загнутые сосульки.

Первую вахту возглавлял в качестве лоцмана тощий Вилдад. И всякий раз, когда старое судно глубоко ныряло в зеленые волны, вздрагивая всем своим обледелым корпусом, а ветры завывали и звенели упругие снасти, раздавался на палубе его ровный голос:

За волнами, за бурями, в краю обетованном
Раскинулись цветущие поля.
Так пред иудеями за древним Иорданом
Лежала Ханаанская земля.

Никогда еще эти слова не казались мне так хороши. В них звучала надежда и свершение. Ну что с того, что над нами и над всей Атлантикой нависла морозная ночь, что с того, что ноги у меня сильно промокли, а бушлат промок еще сильнее, немало еще солнечных гаваней ожидает нас в будущем, и луга, и лесные прогалины, такие непобедимо зеленые, где поднявшаяся весной трава и в разгар лета стоит все такая же нехоженная, все такая же свежая.

Наконец мы настолько удалились от берега, что лоцман больше уже не был нужен. К борту подошел сопровождавший нас парусный бот.

Странно и трогательно было видеть, как взволнованы в этот миг были Фалек и Вилдад, в особенности Вилдад. Ему еще не хотелось уходить, мучительно не хотелось покидать навсегда этот корабль, идущий в долгое, опасное плавание – за оба бурных мыса, – корабль, в который вложены несколько тысяч его прилежным трудом заработанных долларов, корабль, на котором уходит капитаном его старинный товарищ, почти ровесник ему самому, снова пускающийся навстречу всем ужасам безжалостной пасти, – бедному старому Вилдаду очень не хотелось расставаться с этим судном, где каждый гвоздь ему знаком и дорог, и потому он все еще мешкал; он взволнованно прошел по палубе, спустился в капитанскую каюту, чтоб еще раз обменяться там прощальными словами, снова вышел на палубу и поглядел в наветренную сторону, поглядел в широкий, безбрежный океан, ограниченный только невидимыми и далекими восточными

материками, поглядел в сторону берега, поглядел вверх, поглядел направо и налево, поглядел туда и сюда, поглядел никуда и наконец, машинально намотав какой-то трос на кофельнагель, порывисто ухватил за руку грузного Фалека и, подняв фонарь, некоторое время героически глядел ему прямо в лицо, будто хотел сказать: «И все-таки, друг Фалек, я это выдержу, да, да, выдержу».

Сам Фалек отнесся ко всему несколько более философски, однако, несмотря на всю его философию, когда фонарь приблизился к его лицу, в глазах у него блеснула слеза. И он тоже метался между каютой и палубой – то перебрасываясь словом вниз, то на палубе давая последние наставления старшему помощнику Старбеку.

Наконец он с какой-то неумолимой решительностью повернулся к своему приятелю:

– Капитан Вилдад, идем, старина, пора. Эй, на палубе! Брасопить грота-рей! Эй, на боте! Готовься! К борту, к борту подходи! Полегче, полегче. Ну, Вилдад, старина, прощайся. Желаю удачи, Старбек, удачи, мистер Стабб, удачи, мистер Фласк! Прощайте все, желаю удачи! В этот самый день, ровно через три года в старом Нантакете вас будет ждать у меня на столе отличный горячий ужин. Ура и счастливого плавания!

– Бог да благословит вас, братья, и да пребудет с вами попечение Господне, – едва внятно бормотал старый Вилдад. – Надеюсь, теперь установится хорошая погода и капитан Ахав скоро сможет выйти к вам – все, что ему нужно, это немного солнечного тепла, а уж этого-то у вас будет вдоволь, ведь вы идете в тропики. Поосторожней в погоне, помощники! Не разбивайте без надобности вельботов, гарпунеры! Помните, хорошая белая кедровая доска за этот год поднялась в цене на три процента! И молиться тоже не забывайте. Мистер Старбек, проследите, чтобы купор не губил даром бочонков. Да! Парусные иглы лежат в зеленом сундучке. Поменьше промышляйте в Божьи праздники, ребята; но если подвернется хороший случай, то не упускайте его, так вы только отвергаете дары небес. Поглядывайте за бочонком с патокой, мистер Стабб, в нем как будто бы небольшая течь. Если будете высаживаться на островах, мистер Фласк, избегайте блуда. Прощайте! Не держите слишком долго сыр в трюме, мистер Старбек, он испортится. Осторожней с маслом – двадцать центов фунт оно стоило, и помните, если...

– Хватит, хватит, капитан Вилдад, довольно зубы заговаривать. – С этими словами Фалек подтолкнул его к трапу, и они оба спустились в бот.

Корабль и бот стали расходиться; холодный, сырой ночной ветер погнал их прочь друг от друга; чайка с криком пролетела в вышине; оба судна сильно болтало; с тяжелым сердцем мы послали им вдогонку троекратное «ура» и вслепую, точно судьба, пустились в пустынную Атлантику.

Глава XXIII

Подветренный берег

В одной из предыдущих глав мы упоминали некоего Балкингтона – только что вернувшегося из плавания высокого моряка, встреченного нами в нью-бедфордской гостинице.

И вот в ту ледяную зимнюю ночь, когда «Пекод» вонзал свой карающий киль в злобные волны, я вдруг увидел, что на руле стоит... этот самый Балкингтон! Я со страхом, сочувствием и уважением взглянул на человека, который в разгар зимы только успел высадиться после опасного четырехлетнего плавания и уже опять, неутомимый, идет в новый штормовой рейс. Видно, у него земля под ногами горела. О самом удивительном не говорят; глубокие воспоминания не порождают эпитафий; пусть эта короткая глава будет вместо памятника Балкингтону. Я только скажу, что его участь была подобна участи штормующего судна, которое несет вдоль подветренного берега жестокая буря. Гавань с радостью бы приютила его. Ей жаль его. В гавани – безопасность, уют, очаг, ужин, теплая постель, друзья – все, что мило нашему бренному существу. Но свирепствует буря, и гавань, суша таит теперь для корабля жесточайшую опасность; он должен бежать гостеприимства; одно прикосновение к земле, пусть даже он едва заденет ее килем, – и весь его корпус дрожит и сотрясается. И он громоздит все свои паруса и из последних сил стремится прочь от берега, воюя с тем самым ветром, что готов был нести его к дому; снова рвется в бурную безбрежность океана; спасения ради бросается навстречу гибели; и единственный его союзник – его смертельный враг!

Не правда ли, теперь ты знаешь, Балкингтон? Ты начинаешь различать проблески смертоносной, непереносимой истины, той истины, что всякая глубокая, серьезная мысль есть всего лишь бесстрашная попытка нашей души держаться открытого моря независимости, в то время как все свирепые ветры земли и неба стремятся выбросить ее на предательский, рабский берег.

Но лишь в бескрайнем водном просторе пребывает высочайшая истина, безбрежная, нескончаемая, как бог, и потому лучше погибнуть в ревущей бесконечности, чем быть с позором вышвырнутым на берег, пусть даже он сулит спасение. Ибо жалок, как червь, тот, кто выползет трусливо на сушу. О грозные ужасы! Возможно ли, чтобы тщетны оказались все муки? Мужайся, мужайся, Балкингтон! Будь тверд, о мрачный полубог! Ты канул в океан, взметнувши к небу брызги, и вместе с ними ввысь, к небесам, прынул столб твоего апофеоза!

Глава XXIV

В защиту

Раз уж мы с Квикегом занялись китобойным промыслом, а китобойный промысел обычно считается на берегу занятием довольно непоэтическим и малопочтенным, я в силу всего этого сгораю от нетерпения убедить вас, людей сухопутных, в том, сколь несправедливы вы к нам, китобоям.

Для начала повторю здесь, хотя это и будет совершенно излишним, тот общеизвестный факт, что люди не относят китобойный промысел к числу так называемых благородных профессий и считают его более низким занятием. Если человек, будучи введен в смешанное социальное общество, представится собравшимся, например, гарпунщиком, такая рекомендация вряд ли прибавит ему достоинств во всеобщем мнении; и если, не желая отставать от морских офицеров, он поставит на своей визитной карточке буквы К. и Ф. (Китобойная Флотилия), подобный поступок будет расценен как в высшей степени самонадеянный и смешной.

Одной из основных причин, по которым люди отказывают нам, китобоям, в почитании, безусловно, является распространенное мнение, будто китобойный промысел в лучшем случае – та же бойня и будто мы, уподобляясь мясникам, окружены бываем всевозможной скверной и грязью. Мы, конечно, мясники, это верно. Но ведь мясниками, и гораздо более кровавыми мясниками, были все воинственные полководцы, кого всегда так восторженно почитает мир. Что же до обвинения в нечистоплотности, то очень скоро вы будете располагать данными, доселе почти неизвестными, на основании которых китобойное судно нужно будет торжественно поместить в ряд самых чистых принадлежностей на нашей опрятной планете.

Но признаем на время справедливость этого обвинения; что представляют собой скользкие, загрязненные палубы китобойца в сравнении с чудовищными горами падали, загромождающими поля сражений, откуда возвращаются солдаты, чтобы упиваться рукоплесканиями дам? Если же неизменная популярность солдатской профессии связана с представлением о грозящей опасности, то уверяю вас, что не один боевой ветеран, храбро маршировавший на штурм вражеской батареи, сразу же отпрянул бы в трепете при взмахе гигантского китового хвоста, от которого вихрями завивается воздух у него над головой. Ибо что такое доступные разуму ужасы человеческие в сравнении с непостижимыми Божьими ужасами и чудесами!

Однако, хоть мир и пренебрегает нами, китобоями, он в то же время невольно воздает нам высочайшие почести – да, да, мир поклоняется нам! Ибо все светильники, лампы и свечи, горящие на земном шаре, словно лампы пред святынями, возжжены во славу нам!

Но рассмотрим этот вопрос и в ином свете, взвесим его на других весах: я покажу вам, что представляли и представляем собою мы, китобои.

Почему у голландцев во времена де Витта во главе китобойных флотилий стояли адмиралы? Почему французский король Людовик XVI снаряжал на собственные деньги китобойные суда из Дюнкерка и он же любезно пригласил на жительство в этот город десятка два семейств с нашего острова Нантакета? Почему между 1750 и 1788 годами Британия выдала своим китобоям на целый миллион фунтов поощрительных премий? И наконец, каким образом получилось, что мы, американские китобои, превосходим числом всех остальных китобоев мира, вместе взятых; что в нашем распоряжении целый флот, насчитывающий до семисот судов, чьи экипажи в сумме составляют восемнадцать тысяч человек; что на нас ежегодно затрачивается четыре миллиона долларов; что общая стоимость судов под парусами – двадцать миллионов долларов и что каждый год мы снимаем и ввозим в наши порты урожай в семь миллионов долларов? Каким образом могло бы это все получиться, если бы китобойный промысел не сулил могущества стране?

Но это не все и даже не половина.

Я утверждаю, что ни один широко известный философ под страхом смерти не сумел бы назвать другое мирное дело рук человеческих, которое за последние шестьдесят лет оказывало бы на весь наш земной шар в целом столь всемогущее воздействие, как славный и благородный китобойный промысел. Тем или иным путем он породил явления, сами по себе настолько примечательные и чреватые целой цепью столь значительных следствий, что можно уподобить его той египетской женщине, чьи дочери появлялись на свет беременными прямо из чрева матери. Перечисление всех этих следствий – задача бесконечная и невыполнимая. Достаточно будет назвать несколько.

Вот уже много лет, как китобойный корабль первым выискивает по всему миру дальние, неведомые земли. Он открыл моря и архипелаги, не обозначенные на картах, он побывал там, где не плавали ни Кук, ни Ванкувер. Если теперь военные корабли Америки и Европы мирно заходят в некогда враждебные порты, пусть салютуют они из всех своих пушек в честь славного китобойца, который указал им туда дорогу и служил первым переводчиком между ними и дикими туземцами. Пусть славят люди героев разведывательных экспедиций, всех этих Куков и Крузенштернов, – я утверждаю, что из Нантакета уходили в море десятки безымянных капитанов, таких же или еще более великих, чем все эти Куки и Крузенштерны. Ибо, плохо вооруженные, они один на один сражались в кишашщих акулами языческих водах и у неведомых, грозящих дикарскими копьями берегов с первобытными тайнами и ужасами, на которые Кук, со всеми своими пушками и мушкетами, не отважился бы поднять руку. Все то, что так любят расписывать старинные авторы, повествуя о плаваниях в Южных морях, для наших героев из Нантакета – лишь самые привычные, обыденные явления. И часто приключения, которым Ванкувер уделяет три главы, для наших моряков кажутся недостойными простого упоминания в вахтенном журнале. Ах, люди, люди! Что за люди!

До той поры, пока китобой не обогнули мыс Горн, длинная цепь процветающих испанских владений вела торговлю только со своей метрополией, и никаких иных связей между ними и остальным миром не существовало. Это китобой сумели первыми прорваться сквозь барьер, воздвигнутый ревнивой, бдительной политикой испанской короны; и если бы здесь хватило места, я бы мог сейчас наглядно показать, как благодаря китобоям произошло в конце концов освобождение Перу, Чили и Боливии из-под ига старой Испании и установление нерушимой демократии в этих отдаленных краях.

И Австралия, эта великая Америка противоположного полушария, была дарована просвещенному миру китобоями. После того как ее открыл когда-то по ошибке один голландец, все суда еще долгое время сторонились ее заразительно варварских берегов, и только китобоец пристал туда. Именно китобоец является истинным родителем этой огромной колонии. И мало того, в младенческие годы первого австралийского поселения сухари с радушного китобойца, по счастью бросившего якорь в их водах, не раз спасали эмигрантов от голодной смерти. И все неисчислимые острова Полинезии признаются в том же и присягают в почтительной верности китобойцу, который проложил туда путь миссионерам и купцам и нередко даже сам привозил к новым берегам первых миссионеров. Если притаившаяся за семью замками страна Японии научится гостеприимству, то произойдет это только по милости китобойцев, ибо они уже, кажется, толкнули ее на этот путь.

Но если, даже перед лицом всех этих фактов, вы все же станете утверждать, что с китовым промыслом не связаны никакие эстетические и благородные ассоциации, я готов пятьдесят раз подряд метать с вами копья и берусь каждым копьём выбивать вас из седла, проломив ваш боевой шлем.

Вы скажете, что ни один знаменитый автор не писал о китах и не оставил описаний китобойного промысла.

Ни один знаменитый автор не писал о ките и о промысле? А кто же составил первое описание нашего Левиафана? Кто, как не сам могучий Иов? А кто создал первый отчет о про-

мысловом плавании? Не кто-нибудь, а сам Альфред Великий, который собственным своим королевским пером записал рассказ Охтхере, тогдашнего норвежского китобоя! А кто произнес нам горячую хвалу в парламенте? Не кто иной, как Эдмунд Бэрк!

– Ну, может быть, это все и так, но вот сами китобои – жалкие люди; в их жилах течет не благородная кровь.

Не благородная кровь у них в жилах? В их жилах течет кровь получше королевской. Бабкой Бенджамина Франклина была Мэри Моррел, в замужестве Мэри Фолджер, жена одного из первых поселенцев Нантакета, положившего начало длинному роду Фолджеров и гарпунщиков – всех кровных родичей великого Бенджамина, – которые и по сей день мечут зазубренное железо с одного края земли на другой.

– Допустим; но все признают, что китобойный промысел – занятие малопочтенное.

Китобойный промысел малопочтенное занятие? Это царственное занятие! Ведь древними английскими законоустановлениями кит объявляется «королевской рыбой».

– Ну, это только так говорится! А какая в ките может быть царственность, какая внушительность?

Какая внушительность и царственность в ките? Во время царственного триумфа, который был устроен одному римскому полководцу при возвращении его в столицу мира, самым внушительным предметом во всей торжественной процессии были китовые кости, привезенные с отдаленных сирийских берегов.⁸

⁸ Об этом смотри также последующие главы. – *Примеч. автора.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.